



ЭНТОНИ

БЁРДЖЕСС

*МИСТЕР ЭНДЕРБИ:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эндерби

Энтони Бёрджесс

Мистер Эндерби. Взгляд изнутри

«Издательство АСТ»

1963

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Бёрджесс Э.

Мистер Эндерби. Взгляд изнутри / Э. Бёрджесс — «Издательство АСТ», 1963 — (Эндерби)

ISBN 978-5-17-116267-2

Первый роман сатирической тетралогии Энтони Бёрджесса о жизни и приключениях поэта-затворника Эндерби, начатой еще в 1963 году и завершённой в 1984-м. Мистер Эндерби вполне доволен своей жизнью: он пишет стихи в импровизированном кабинете-ванной и ведет нескончаемые споры с домохозяйкой и соседями. Но все меняется, когда он встречается Весту Бейнбридж, редактора дамского журнала, на вручении ежегодной поэтической премии и оказывается внезапно для себя втянут в романтические отношения... Однако муза — ревнивая возлюбленная, и она жестоко покарает изменника...

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-116267-2

© Бёрджесс Э., 1963
© Издательство АСТ, 1963

Содержание

Часть первая	6
Глава первая	6
1	6
2	9
3	11
4	15
5	16
Глава вторая	20
1	20
2	21
3	23
4	25
5	29
Глава третья	31
1	31
2	34
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Энтони Бёрджесс

Мистер Эндерби. Взгляд изнутри

Посвящается Д'Арси Конейрс

*Вперед, последний из поэтов, —
Ты, сидя взаперти, хандришь, хвораешь.
На улице тепло, полно людей.
Бери монетку и давай скорей
Иди за чемерицей, вот и погуляешь.*

Жюль Лафорг. Воскресенья¹

Anthony Burgess
INSIDE MR ENDERBY

Печатается с разрешения International Anthony Burgess Foundation при содействии литературных агентств David Higham Associates Limited и The Van Lear Agency LLC.

© International Anthony Burgess Foundation, 1963

© Перевод. А. Комаринец, 2015

© Издание на русском языке AST Publishers, 2016

Часть первая

Глава первая

1

– ХРРР-УМПФ.

И вам тоже счастливенького Нового года, мистер Эндерби!

Но пожелание не впрок обеим сторонам, поскольку для нас, ночных визитеров, год очень даже старый. Мы, шепчущие, трогающие, шуршащие и скрипящие половицами по вашей спальне, те грядущие поколения, к которым вы с такой надеждой обращались. Поздравляем, мистер Эндерби: вы уже попали в яблочко на мишени небес. Но ежели теперь вы проснетесь от колики в двенадцатиперстной кишке или желудке, которые для нас такая же жутковатая приправа к литературе, как золотуха Бена Джонсона, копрофагия Свифта или убийственные скачки давления у Китса, не воображайте, будто у вашей кровати посвистывают или стрекочут призраки. Чтобы быть призраком, надо сначала умереть или хотя бы родиться.

– Бэррфр-хрп.

Меткий ответ из заднего прохода мистера Эндерби. Не трогай, Присцилла. Мистер Эндерби не вещь, чтобы в него тыкали, а великий поэт, и он спит. И вынь свой грязный пальчик у него изо рта, Альберта. Его рот открыт не ради дилетантского стоматологического осмотра, а для того чтобы дышать. Носовые отверстия (к сорока пяти годам лучшие времена носа как органа позади), эти огромные подрагивающие пещеры со своими миниатюрными подмышками и пазухами, закупорены. Не забывайте, мир запахов принадлежит его ранним стихотворениям (страницы с 1-й по 17-ю в подборке издательства Гарвардского университета, которая у вас в списке обязательного чтения). Там нам встречаются запахи вымытых волос, пикулей, дрока, соли для ванн, кожи, стружки от заточенного карандаша, консервированных груш, почтовых контор, миссис Лейзенби в магазинчике трущобного квартала, где прошло его детство, гвоздики, диабета. Но в его зрелых произведениях запахов не существует – порты-близнецы закрылись навеки. Этот нежный звук, Гарольд, называется храп. Совершенно верно, Кристина, его зубы – и нижняя и верхняя челюсти – съемные, они помещены вон в ту пластиковую емкость. Деточка, деточка, ты пролил жидкость для протезов на ковер домохозяйки мистера Эндерби. Нет, Робин, ковер не красивый и не редкий, но это собственность миссис Мельдрам. Да, сам мистер Эндерби наше достояние, всемирное наследие, но ковер принадлежит его домохозяйке.

Итак. Его волосы совершают каждодневное путешествие с головы на расческу, взвод за крошечным взводом с билетом в один конец. Вот тут, на туалетном столике, расчески и щетки с ручками под серебро, завещанные ему отцом, владельцем табачной лавки. Щетина действительно грязная, Мэвис, но великим поэтам есть чем заняться помимо гигиены. Взгляните, как щетинки выхватили свою ежедневную порцию и без того уже не густых волос мистера Эндерби. Это священные реликвии, дети. Не бросайтесь все разом. По одному на каждого. Вот так. Сохраните их бережно в своих дневничках на счастье в грядущем году. Выпавшие волосы становятся собственностью нашедшего их, Генри. Мистеру Эндерби они ни к чему, но на аукционах классики за них уже дают около фунта, если симпатично оформить. Нехорошо, Одри, вырывать живой волос. Такой резкий рывок может разбудить мистера Эндерби.

– Арр-х-пч.

Что я говорил?! Вы его потревожили. Давайте подождем, пока он не уляжется, как дают успокоиться взбаламученной воде. Вот так. А какой вид открывается – согласны, детки? – когда

мистер Эндерби переворачивается на крестец, а простыни соскальзывают и сваливаются на пол. Его живот вздымается двумя пологими холмами по обе стороны от врезающейся в плоть резинки пижамных штанов. Видите, какое изобилие волос? Отвратительная ирония среднего возраста в том, что волосы маршируют вниз с благородной вершины, орлиного гнезда, покидают его, словно этот самый орел, а лагерь, бараки и гарнизоны теплого вульгарного тела по-прежнему изобилуют растительностью, бесполезной и некрасивой. И дряблая грудь, видите? То же изобилие кудельков. Да еще и подбородок, и щеки в щетине. Ощерились, как сказал бы Мильтон.

Да, Дженис, вынужден признать, что даже в полной темноте спящий мистер Эндерби – не самое приятное зрелище. Да, мы все заметили редеющие волосы, беззубый рот, множество складок вздымающейся и опадающей плоти. Но какое отношение пригожесть имеет к величию, а? Вот и поразмыслите над этим. Тебе бы не хотелось быть за ним замужем, Альберта? А ведь вполне возможно, что верно и обратное, тем более что ты глупая, хихикающая пустышка. Кто ты такая, чтобы думать, будто тебе вообще посчастливится встретить и стать спутницей великого поэта?

Ноги, что ступали по Парнасу! Видите какие натоптыши на запутанной карте подошвы? Обломанные ногти, хотя вон на том большом пальце ноготь так загрубел, чтобы его не сломать. Согласен, не помешало бы хорошенько отмочить их в пене. Простертая, как у нищего, правая рука на деле рука короля. Благоговейно взирайте на пальцы, сейчас отдыхающие от пера. Завтра они снова возьмутся за дело, завершая стихотворение, которое он считает своим будущим шедевром. О, что создали эти пальцы! Каждый, поцелуйте руку, но осторожно, касайтесь не сильнее ползущей мухи. Понимаю, понимаю: акт целования потребует усилия воли, чтобы преодолеть естественное омерзение. Однако сим вам будет преподан небольшой урок схоластической философии. Заскорузлые костяшки, ногти с черными ободками, въевшиеся табачные пятна (сигарету держали между пальцами, иногда о ней забывали, пока ум поэта взмывал над запахом горелой бумаги), грубая кожа – все это преходящее, внешние аспекты руки, уступка вульгарному миру потребления пищи и умирания. Но в чем истинное назначение руки? Эта рука – божественный инструмент, принесший в наши жизни чуточку благодати. Давайте, целуйте ее, целуйте. Алтея, перестань издавать такие звуки, будто тебя тошнит. А у тебя, Чарлз, лицо и так безобразное, незачем еще и рожи корчить. Вот и ладненько, целуй.

Его это практически не потревожило. Он легонько почесался. Поскреб то место, куда опустился любопытный мотылек. Тсс! Он собирается что-то сказать во сне. Ваши поцелуи разбудили спящее вдохновение. Слушайте.

Подруга моя прекрасна собой и стройна,
Трудится тяжело на ниве сладкого сна².

И это все? Это все. Какое чудо, дети! Вы слышали его голос! Пусть невнятный и сонный, но тем не менее его голос! А теперь перейдем к прикроватной тумбочке мистера Эндерби.

Книги, детки, постельное чтение мистера Эндерби. «Блондинки как пули» – что бы это ни значило. «Кто есть кто в античности» – несомненно, очень полезно. «Сделка Рэффити» в дурацкой обложке. «Как я преуспел» – из-под пера магната, умершего от атеросклероза. «Маленькие истории мучеников во имя Девы Марии» – сенсация. А вот, милые мои, и томик самого мистера Эндерби – «Рыба и герои», сборник его ранних стихотворений. Каким гением он был тогда! Да, Деннис, можно взять в руки, но обращайся осторожно. Ах ты несносный мальчишка, опрокинул всю стопку на пол! Что это? Что было спрятано между обтрепанными страницами? Фотографии? Не трогайте! Оставьте, они не для вас! Милосердные небеса, сла-

² Здесь и далее стихи даны в переводе Н. Сидемон-Эристава.

бости великих... Какой позор мы непреднамеренно вскрыли. Бренда, Морин, нечего хихикать, сейчас же отдайте мне фотографию. Своими дурацкими смешками вы разбудите мистера Эндерби. Что они делают, Чарлз? Кто, мужчина и женщина на картинке? Заняты собственным делом, вот что они делают.

– У-фффф-р-хуф.

Усни, покойся, потревоженный дух! Робин, отдай, пожалуйста, фото. Да, да, уголок торчит из кармана твоего блейзера. Спасибо. Если вам так нужно знать, техническим термином будет фелляция. И хватит об этом. Пройдем на цыпочках в уборную мистера Эндерби. Вот мы и на месте. Именно здесь мистер Эндерби пишет большинство своих произведений. Удивительно, правда? Он знает, что здесь его ждет истинное уединение. Ванна полна рукописей, словарей и подтекающих авторучек. Перед унитазом низенький столик. Вон там электрообогреватель, согревающий босые ноги поэта. Почему он избрал столь скромное помещение? Оно удивительно уместно для поэзии, ибо, как он сказал в одном интервью, поэт – очиститель и опорожнитель времени. Но с уверенностью можно утверждать, что тут кроется много большее. Какая-то детская травма, пока еще нами не обнаруженная. Зато в отделе образовательных экскурсий во времени уже поговаривают о том, чтобы продвинуться дальше в прошлое. Кто знает? Возможно, еще до окончания школы вы навестите Шекспира, корпящего в приходе Святого Олафа над морем стихов. Найджел, оставь в покое ржавые бритвы, глупый ты мальчишка! А теперь потихоньку, потихоньку... До комнаты, где он ест и где, когда не пишет, живет, один лишь шаг. Нет, Стефани, мистер Эндерби живет один по собственной воле. Любовь, любовь, любовь... Только об этом вы, девочки, и думаете. До сих пор любовная жизнь мистера Эндерби не изучена и покрыта мраком. Его отношение к женщинам? У вас есть его стихи, хотя, надо признать, секс в них почти не упоминается.

– Порририпо-хрумпф.

Рожки Эльфийской страны! Мы оставляем его похрапывать в поэтической дреме. Но еще кое-что. В стихотворениях того года – которых он, разумеется, еще не написал – налицо проблески чего-то большего, чем фотографический интерес к женщине. Но у нас нет биографических свидетельств того, что имел место роман, перемена в жизни. У нас вообще мало биографических свидетельств. По сути, он, так сказать, жил больше внутри, чем вовне. И этот адрес на приморском курорте единственный, какой у нас имеется. Вы слышите море, ребята? Это то самое море, которое знакомо и нам, жестокое, зеленое, загрязненное.

Что говорит эта комната о мистере Эндерби? В порядке, с каким расположены безделушки, явно чувствуется рука миссис Мельдрам, его домохозяйки. Да, взирайте на них с изумлением: вереницы слоников черного дерева – от маленького к большому, очаровательнейшая фарфоровая пастушка, играющая на флейте невидимым овечкам, гипсовая игрушечная подставка для гренок с лупящейся блэкпуловской позолотой, коробка для чая в форме почерневшего Брайтоновского павильона, крашенный под мрамор подсвечник из папье-маше, фарфоровая сучка и ее фарфоровый выводок, филигранная шкатулка для пуговиц. Вам нравится картина над полкой электрического камина? На ней мужчины в красных куртках готовятся провести утро за охотой, все мужчины на одно лицо, поскольку, как мы предполагаем, псевдохудожнику была по карману только одна модель. На противоположной стене британские адмиралы восемнадцатого столетия разворачивают карту *terra incognita*, а в пенных кубках блестит отсвет камина. Вот тут развеселые монахи удят рыбу в четверг, а там пожирают свой пятничный пир. Головка сумасбродки двадцатых годов, при шляпе и губной помаде – на узкой стене сразу за кухонной дверью. Перестань ковырять в носу, Эмили. И, как я уже говорил, Чарлз, выдувать пузыри из слюны на нижней губе – сущее ребячество. Кухня едва ли достойна осмотра. Хорошо, хорошо, если вы настаиваете.

Как крепко воняет заплесневелым хлебом! Видите, как светится в темноте та рыба? Сковороды на высокой полке. Не трогай, Деннис, не трогай. Ах ты негодный!.. Все треклятые ско-

вородки с грохотом и лязгом попадали вниз. Будешь еще смеяться, недотепа ты безрукий?! То-то я по вашим задницам посмеюсь, когда верну вас назад в цивилизованный мир! О боже, сотейник опрокинул чайник! Газовая плита залита водой! Какой жуткий металлический лязг! Кто рассыпал перец? Перестаньте чихать, мать вашу! А-а-пчихи! Какие вы неуклюжие! Быстро марш отсюда!

Никому из вас нельзя доверять. Последний раз провожу такую экскурсию! Сейчас же посмотрите на викторианские крыши в рыбьей чешуе черепицы под новогодней луной! Вы больше никогда их не увидите. Ничего больше не увидите в этом городке, в квартирах и меблированных комнатах которого ушедшие на покой и умирающие хрипят и сипят до рассвета. Очень похоже на огромную расческу, правда? Подмигивает блестящая изукрашенная ручка, зубцы улиц прочесывают глушь пустошей, вон там волосяной шарик дыма с железнодорожного вокзала... А над нами январское небо: Рукав альфы Центавры, Змееносец, Стрелец, планеты эпох, войны и любви клонятся к западу. И тот человек внизу, которого устроенный вами кавардак пробудил от диспепсического, с образованием газов в кишечнике сна, придает всему этому смысл.

2

Проснулся Эндерби от лязга и изжоги. К изголовью его кровати крепилась лампочка на прищепке с пластмассовым абажуром. Только включив ее, он сообразил, что дрожит от холода, и увидел почему. Подобрал с полу скомканные простыни, он кое-как укрылся и улегся назад смаковать боль. В ней чувствовалась необъяснимая нотка сырой репы. Шум? Так это, верно, воют кухонные божки. Крысы. Нужно бы питьевой соды принять. Надо (по меньшей мере в тысячный раз напомнил он себе) заранее смешивать ее с водой и держать под рукой у кровати. Укол заостренной сырой репой расколол ему грудь. Надо встать.

Он увидел себя в зеркале гардероба: скорчившийся ревматичный робот в пижаме шаркает в крошечный коридор. В столовой он включил свет – так пес вынюхивает кого-то, кто ловко скрылся. Ну конечно! Вокруг хнычут призраки, призраки мертвого года. Или, возможно (он язвительно улыбнулся дурашливому, тщеславному образу), сюда робко заглянули грядущие поколения. Его поразил беспорядок на кухне. Впрочем, такое случается: хрупкое равновесие вдруг нарушает микрометрическое оседание старого дома, дрожь земли или своевольные кочевники среди самой утвари. Взяв с сушилки мутный стакан, он наметелил снежную горку бикарбоната натрия, потом, залив водой, размешал двумя пальцами и выпил. Он выждал тридцать секунд, щурясь на матовое стекло задней двери. Крохотная ручонка, прячущаяся под его надгортанником, подала знак: пора. А потом...

Упоительно! Ах, доктор, что за облегчение! Думаю, мне следует письменно поблагодарить вас за пользу, приносимую вашим продуктом. Ааааарх. Почти сразу за вторым спазмом облегчения накатил бешеный и бесстыдный голод. Он сделал три шага, необходимых, чтобы попасть от раковины к буфету, и обнаружил, что шлепает по ледяной воде, разлитой у плиты. Вытерев ноги об уроненное кухонное полотенце, он вернул на полку упавшие сковороды (он морщился от стариковской боли, когда нагибался за ними!). Потом вспомнил, что нужно вставить зубы, поэтому побрел назад в спальню, по дороге включив электрокамин в гостиной. Он поцокал перед зеркалом с фальшивым блеском, потом совершил краткий и неуклюжий танец ярости, пугая двойника за стеклом. В буфете нашлись катышки окаменевшего чеддера в грязной обертке. Рядом в банке с густым маринадом плавал похожий на кукольные мозги одинокий карлик цветной капусты. Еще было полбанки сардин, эдаких пухлых ножей в золотистом масле. Он ел руками, которые затем насухо вытер о пижаму.

Почти сразу среагировал кишечник. Метнувшись – ни дать ни взять персонаж глупой комедии – в сортир, он со вздохом сел и включил обогреватель. Почесал босые ноги и задум-

чиво взялся за исчерканный черновик, над которым работал. Хррпффрумппфф. Это был набросок аллегии, повествовательной поэмы, сплавившей два мифа – микенский и христианский. Крылатый бык слетал с небес с воем ветра. У-ууу-хууууу. Супруга законодателя обесчещена. Беременная, изгнанная мужем как потаскуха, она под чужим именем приходит в крошечную деревушку и там, на дешевом постоялом дворе производит на свет Минотавра. Но старая опухшая карга, помогавшая ей при родах, не способна хранить секреты: она раструбила на всю деревушку (и слух разошелся дальше по градам и весям до самой столицы), что на землю пришел бог-человек-зверь, чтобы править миром. Фрррфрр. Преисполнившись надежд, анархисты восстали против законодателя, ибо предания давно уже предвещали приход божественного вождя. Разразилась гражданская война, с обеих сторон сверкали острые молнии пропаганды. «Зверь – это зло, – твердил царь Минос, – поймайте его, убейте его!» «Зверь это бог!» – кричали повстанцы. Но никто, кроме царицы-матери и беззубой повитухи, зверя не видел. Бррр-пххх-пфр. Малыш Минотавр, быстро и энергично поревывая, рос, надежно укрытый от мира со своей родительницей в одинокой хижине. Но в результате предательства агенты Миноса прознали, где он. Пусть технически он и монстр, подумал Минос, когда существо привезли к нему во дворец, в нем нет ничего жуткого: в его ласковых глазах сияли озерца любви. Теперь, когда талисман и знамя мятежа были в его руках, Минос потребовал, чтобы мятежники сдались. Он велел построить лабиринт, огромный и мраморно-великолепный, в сердце которого спрятал Минотавра. Пропаганда превратила Минотавра в неопишное чудовище, якобы питающееся человеческим мясом, он сделался государственным пугалом и государственной виной. Но так как царь Минос был экономным, периферийные коридоры лабиринта стали также обителью критской культуры, приютив университет, музей, библиотеку, галерею искусств: сокровищница достижений человечества, красота и знание, выросшие вокруг ядра из греха, – как суть человеческого бытия. Ф-фффрр-ф (это размотался рулон туалетной бумаги). Но однажды с запада пришел освободитель-пелагианец, человек, не ведавший греха, убийца вины. Минос к тому времени давно почил вместе со своей бесстыдной царицей и повитухой. Говорили, что никто, видевший чудовище, не уцелел, чтобы о нем поведать. Встреченный цветами, криками радости и вином освободитель взялся за свой героический труд. Светловолосый, загорелый, мускулистый, безгрешный, он вступил в лабиринт и день спустя вышел, ведя за собой на веревке чудовище. Ласковое, как домашний зверек, оно взглянуло на людей обиженными и всепрощающими глазами. Люди же схватили его, принялись осыпать бранью, пинать и бить. Наконец, его прибили к кресту, где оно медленно издохло. В то мгновение, когда его дух отлетел, раздалась вселенские грохот и треск. Лабиринт рухнул, книги были погребены под обломками, статуи стерты в пыль: цивилизации пришел конец. Аэrr-rrr-xx.

Предварительно поэма назвалась «Ласковое чудовище». Эндерби понимал, что над ней еще работать и работать, прояснять символы, распутывать технические узлы. Следовало ввести безучастного ремесленника Дедала, гения-отшельника, знающего наилучший способ бегства. Была еще пантомима с коровой Пасифаи. Он произнес на пробу – низким и сильным голосом – строку-другую перед притихшей аудиторией из грязных полотенец:

Царь во сне холодный суд творил,
А смерд трудился в поле что есть сил —
И напевал, работой увлечен.
Таков порядок и таков закон:
Творец творит. Не спрашивает он.

Слова, разнесшиеся по укромной каморке, действовали как заклинание. Сразу за хлипкой дверью квартиры мистера Эндерби на первом этаже располагался вестибюль дома. И сейчас он слышал, как со скрипом открывается входная дверь и туда набиваются новогодние

гуляки. Он узнал глупый сиплый голос коммивояжера, жившего этажом выше, и довольный смех его сожительницы. Были и другие голоса – голоса, которые невозможно приписать знакомым людям, обобщенные голоса читателей «Дейли миррор», тех, кто смотрит телевизор и покупает в рассрочку, тех, кто пьет поддельный сидр. Послышались громкие и веселые поздравления:

– С Новым годом, Эндерби!

– Фррррф!

– Мне нехорошо, – слышался женский голос. – Меня сейчас стошнит.

И судя по звукам, ее тут же стошнило.

– Прочитай нам стишок, Эндерби, – крикнул кто-то. – «Эскимоску Нэлл» или «Славный корабль Венера».

– Спой нам, Эндерби!

– Джек, – слабым голосом произнесла женщина, – я пойду наверх. С меня хватит.

– Иди, дорогая, – откликнулся коммивояжер. – Я через минуту. Надо сперва спеть серенаду старику Эндерби.

Сначала раздался шум от сильного удара о дверь квартиры Эндерби, за ним слышались хормейстерские «раз, два, три», а после – бодрая, хоть и рваная мелодия «Ах, мой милый Августин», но с грубыми английскими словами:

На хрен друга Эндерби, Эндерби, Эндерби,

На хрен друга Эндерби, на хрен пошел.

Выйти к нам не хочет, знай сидит и дрожит – и...

Эндерби затолкал в уши катышки жеваной туалетной бумаги. В безопасности запертой квартиры он теперь для верности заперся еще и в ванной. Почесывая согревшуюся босую ногу, он постарался сосредоточиться на поэме. Гуляки вскоре сдали позиции и рассеялись. Ему показалось, что коммивояжер крикнул:

– Конец тебе, Эндерби!

3

Надежно укутанный от пронизывающего приморского холода Эндерби шел по Фицгерберт-авеню к морю. Была половина одиннадцатого утра (по часам на ратуше), и пабы только-только открывались. Он миновал «Грейдлэх» («Для ребят из Грейдли»), «Кайэ-Ора» (новозеландцы на пенсии), «Тай-Гвин» (содержатели – пара из Тридгара), «Вид на Ла-Манш», «Белые столбы», «Дольче Домус», «Лавры», «Итаку» (владелец – бывший преподаватель античной литературы и осужденный педераст). Нарезанные на квартиры, низведенные до пансионатов, эти некогда красивые особняки принадлежали чужеземцам с севера и с запада от Даунса, подпавшего под лживые чары южного побережья: по ночам через пролив подмигивала Франция, и воздух казался приятно мягким. Но не сегодня, решил Эндерби, хлопая, чтобы согреть руки, медвежьими лапами шерстяных варежек. На нем был розовый в коричневую и ванильную полоску шарф, туго перепоясанное пальто тяжелого мельтоновского сукна, от небес его укрывал баскский берет. Дом, где располагалась его квартира, остался (благодаренье тем самым небесам) безмянным. Просто номер 81 по Фицгерберт-авеню. Появится ли однажды на нем табличка в знак того, что он там жил? Эндерби был совершенно уверен, что нет. Он принадлежал к вымирающей расе, на которую мир не обращал внимания. Ура!

Свернув на Эспланаду, Эндерби стал в конец очереди из старух в булочной и вышел оттуда с буханкой за семь пенни. Подойдя к перилам, он оперся о них и начал ломать буханку. С криком слетелись на бросаемый хлеб чайки, жадные твари с глазами-бусинками, а море,

зеленовато-серый зимний Ла-Манш, с гиканьем набегало и ворчливо откатывалось, точно под кнутом укротителя, неохотно потрясая бубенцами пены. Бросив последние крошки студеному ветру и парящим серым птицам, Эндерби пошел прочь. Но перед тем как войти в «Нептун», обернулся посмотреть на море и увидел в нем, как часто бывает на расстоянии, умненькое и непоседливое зеленое дитя, научившееся без линейки проводить прямую черту.

Салун-бар «Нептуна» был уже наполовину полон старичьем, по большей части вдовым.

– Доброе утро, – поздоровался умирающий генерал-майор, – и счастливого вам Нового года.

Пара древних стариков сравнивали свои артриты за детскими кружечками портера. Бородатая дама пила портвейн и медленно, беззубо что-то пережевывала.

– И вам того же, – откликнулся Эндерби.

– Вот бы до весны дотянуть, – сказал генерал, – большего и не надо. На большее я и не надеюсь.

Эндерби сел со своим виски. Среди престарелых он чувствовал себя как дома, был принят в их кружок, невзирая на свою нелепую юность. Впрочем, его официальный возраст интересовал лишь страховщиков. Сейчас, когда глотку ему обжег виски, его мелкие и острые боли, отсутствие интереса к действию – все это делало его таким же старым, как развалины, среди которых он сидел.

– Как... – спросил подергивающийся пергаментный старичок, – как ваш... – Его рука трясла бокал, точно стакан для игры в кости. – Как ваш желудок?

– Редкостные рези, – отозвался Эндерби. – Почти видимые глазу, понимаете. И газы.

– Газы, – вмешался генерал-майор, – о, да, газы! – Он говорил о них, словно о редком старом коньяке. – Сколько лет их у меня уже не было! Теперь я, конечно, ничего не ем. Немного хлеба, размоченного в теплом молоке, утром и вечером. Клянусь, только ром держит меня на плаву. Я же вам рассказывал, правда, про схватки за пайковый ром в Брудерструме?

– Неоднократно, – ответил Эндерби. – История весьма недурна.

– Правда? – мучительно оживился генерал. – Правда, недурна? И сущая правда. Неве-
роятно, но сущая правда!

– А вот у меня, – подала голос с барного стула плебейского вида карга в грязном черном платье, – удалили кусок желудка.

Ответом ей стало молчание. Пожилые мужчины задумались над таким дармовым откровением, размышляя, не дурной ли это вкус из уст женщины, к тому же едва знакомой.

– Вы, верно, напереживались, – доброжелательно сказал Эндерби.

Старуха посмотрела с хитрецей, вцепилась покрепче в барную стойку пергаментными пальцами с почти окаменевшими костяшками и, накренившись на табурете в сторону Эндерби, очень громко произнесла:

– Прошу прощения?

– Столько переживаний, такое не забывается.

– Шесть часов на столе, – закивала старуха. – Здесь меня никто не переплюнет.

– Бах! – закричал генерал-майор тоном анемичного моряка. – Бах-бах! – Он не ударился в воспоминания о Первой мировой, а подзывал бармена, чтобы тот налил ему свежую порцию рома.

Из-за барной стойки вынырнул бармен по фамилии Бах: за семьдесят, в белой куртке официанта, с фальшивой улыбкой, одновременно слабоумной и лстивой, седовласая голова вечно скособочена набок, как у прислушивающегося попугая.

– Да, генерал? – спросил он. – Повторить, сэр? Отлично, сэр.

– Вечно я ему объясняю, как правильно, – пожаловался дряхлый старик с лысой головой-яйцом, как у Сибелиуса³. – Словечко-то в ходу у барменов и домохозяев. Я им, дескать, того же самого, а они в ответ: «то самое» не бывает. Но хочется ведь того самого. Повторять-то не хочется. Вы же словами занимаетесь, Эндерби. Вы писатель. Что вы об этом думаете?

– То же самое, – согласился Эндерби. – Из той же самой бутылки. А повторить – это нечто другое.

– Профессор Тейлор, помнится, очень убедительные аргументы приводил, – сказал старик, весь в сенильных пятнах, как салями, и с каплей на кончике крючковатого носа.

– А куда подевался Тейлор? – спросил генерал-майор. – Его уже давно не видно.

– Умер, – ответил пятнистый. – На прошлой неделе. Когда вытаскивал пробку. Порок сердца.

– Тейлор умер, – протянул генерал. – А я и не знал.

Он забрал ром у подбострастного Баха. Бах принял мелочь с подбострастным наклоном ломаного и починенного торса.

– Я-то думал, что уйду первым, – продолжал генерал, – но я еще здесь.

– Не так уж вы и стары, – сказал трясущийся пергаментный.

– Мне восемьдесят пять, – возмущенно надулся генерал. – Я бы назвал такой возраст почтенным.

С насестов слетелись птицы высшего полета. Одна старуха кокетливо призналась, что ей девяносто. И, будто в доказательство, выдала несколько па вальса, напевая себе под нос из «Веселой вдовы». Села она под вежливые, шокированные аплодисменты с посиневшими губами, сердце у нее почти слышимо ухало.

– А сколько вам, Эндерби? – поинтересовался двойник Сибелиуса.

– Сорок пять.

Ответом ему стало фырканье, одновременно презрительное и насмешливое.

– Если это шутка, то, пожалуй, в дурном вкусе! – пискнул старичок в углу.

Генерал-майор строго и решительно повернулся к Эндерби, твердо положив руки на голову бульдога слоновой кости, набалдашник трости.

– И чем вы зарабатываете на жизнь? – спросил он.

– Вы уже знаете, – откликнулся Эндерби. – Я поэт.

– Да, да, но на что вы живете? Только сэр Вальтер зарабатывал на литературе. И возможно, еще тот англо-индус, что жил в Бериуше⁴.

– Кое-какие вложения, – ответил Эндерби.

– Какие именно?

– «Институт инвестиций», «Бритиш моторз корпорейшн» и «Батлингз». И облигации локальных государственных займов.

Генерал-майор хмыкнул, точно каждый из ответов Эндерби вызывал серьезные подозрения.

– А в каком звании в последней войне служили? – спросил он, нанося последний удар.

Не успел Эндерби солгать в ответ, высокая худая вдова в дряхлом твиде, в очках в черной оправе, упала с низкого табурета у плетеного стола. Старики дрожащими руками потянулись за палками, чтобы кое-как подняться и ей помочь. Но Эндерби подоспел первым.

– Вы так добры, – учтиво прошамкала старуха. – Так неприятно, что от меня штолько шлофот.

По всей очевидности, ожидая открытия паба, она основательно нагрузилась дома. Эндерби поднял ее с пола, такую же легкую и нестигаемую, как пучок сельдерея.

³ Ян Сибелиус (1865–1957) – финский композитор. – *Здесь и далее примеч. пер.*

⁴ Имеется в виду Вальтер Скотт и Редьярд Киплинг.

– Такое в лучших шемьях случается, – добавила она.

Все еще поддерживая ее под локоть, Эндерби, к шоку своему, увидел в огромном старорежимном зеркале на противоположной стене силуэт своей мачехи. Потрясенный, он едва не уронил свою ношу на пол. А отражение в зеркале кивнуло ему, точно анимированная картинка в телерекламе, и подняло свой стакан в новогоднем тосте, а потом заковыляло, как за кулисы, к краю рамы и за ней исчезло.

– Ну же, Эндерби! – капризничал тем временем генерал-майор. – Посадите ее на место.

– Вы очень добры, – прошамкала вдова, изо всех сил стараясь сосредоточиться на своем стакане джина.

Эндерби оглядел комнату в поисках источника того отражения в зеркале, но увидел лишь, как кто-то, согнувшись, ковылял в мужской туалет. Вот в чем, наверное, дело – игра света или Новый год сам по себе. Удивительно, но как раз мачеха любила рассказывать байку о том, как в первый день Нового года по улицам расхаживает человек, у него на лице столько носов, сколько дней в году. В детстве он выискивал этого человека, опасливо считая его членом семейства антихристов, которые ходят по земле до Судного дня. Еще долгое время после того, как он понял, в чем подвох, первый день Нового года хранил для него раздражающий привкус жути – как день всевозможных отклонений. Он был почти уверен, что мачеха мертва и похоронена. По крайней мере, в его отношении она свою работенку исполнила как могла. Ей незачем было оставаться в живых или возвращаться из мертвых.

– Так вот, – сказал генерал-майор, когда Эндерби сел с новым стаканом виски, – в каком звании, вы говорите, служили?

– Генерал-лейтенанта, – ответил Эндерби: в речи запятая ничем не хуже дефиса.

– Я вам не верю.

– Так проверьте.

Эндерби был почти уверен, что видел, как мачеха выходит с четвертной бутылкой «Бутса» в продуктовой сумке. «Нептун» был из тех пабов, где каждое из трех отделений – общий зал, салун-бар и на вынос – просматривалось из двух других остальных. Эндерби пролил виски на галстук.

– Вы виски на галстук вылили, – произнес вдруг до того молчавший старик, указывая на Эндерби дрожащей рукой.

Эндерби подумал, что от страха может случиться и что похуже. Внешний мир небезопасен. Нужно вернуться домой, запереться, работать над поэмой. Допив оставшийся в стакане глоток, он застегнулся и надел баскский берет.

– Я вам не верю, сэр, – повторил генерал-майор.

– Как вам будет угодно, генерал, – ответил бывший лейтенант Эндерби. И с генеральским салютом ушел.

– Он лжец, – возмутился ему в спину генерал-майор. – Я всегда знал, что ему нельзя доверять. И в то, что он поэт, я не верю. Что-то в нем сегодня утром было скользкое.

– Я читал про него в публичной библиотеке, – откликнулся пятнистый. – Там и фотография была. Это была статья, и автор очень его хвалил.

– Да кто он такой? Откуда он взялся? – спросил еще один.

– Он держится особняком, – ответил пятнистый и как раз вовремя втянул опасно свисающую каплю.

– И все равно он лжец, – не унимался генерал-майор. – Сегодня же проверю список офицерского состава.

Он так и не проверил. Один водитель, раздраженный и издерганный от новогоднего похмелья, сбил его, когда он переходил Ноллекенс-авеню. Задолго до весны генерал-майор удостоился посмертной славы.

4

На раздираемом чайками воздухе, под новогодним небом, у напалзающего взбитыми сливками прилива Эндерби почувствовал себя лучше. В этом резком свете не было места призракам. Но потусторонняя гостья, точно судебный пристав, требовала отдать дань прошлому, прежде чем, как в начале каждого года, смотреть в будущее.

Эндерби вспомнил о своей матери, умершей при родах, сведений о которой вообще не сохранилось. Ему нравилось представлять молодую женщину, светловолосую, мило утонченную и художаво податливую. Ему нравилось представлять ее себе окутанную золотым светом в дышащей пчелиным воском гостиней, поющую «Мимолетную жизнь» под собственный аккомпанемент. Спадающий жар июльского дня с грустью залетал в распахнутые двери из сада, полыхавшего «Кримсон глори», «Мадам Л. Дьедонне», «Эной Харкнесс», «Золотыми призраками» и розами прочих сортов. Он мысленно видел отца: педанта и книгочея в шлепанцах, который пускал колечки дыма и кивал в тихом удовольствии от музыки. В действительности отец был совершенно иным. Этот оптовый торговец табаком, правивший записями в гроссбухе при помощи черной линейки-скипетра, торчал в жилетке и котелке в конторе позади лавки, где считал часы до открытия пабов. Почему? Чтобы сбежать от мерзавки, второй жены. Почему, скажите на милость, он на ней женился? «Деньги, сынок. Первый муж оставил ей гору денег. И будем надеяться, что ее пасынок пожнет плоды». До какой-то степени так и вышло. Отсюда несколько сотен в год от «Института инвестиций», «Бритиш моторз» и так далее. Но стоило ли оно того?

Вторая жена не отличалась ни утонченностью, ни мягкостью. Этот центр обвешенного кольцами и брошами жира до рези вонял разными женскими запахами, вонял, как забытый в погребе кролик или стухшая говядина, а ее комната была завалена грязными панталонами, скомканными комбинациями, прелыми бюстгальтерами... У нее были распухшие костяшки пальцев, отечные ладони, запястья в складках жира, белые слизны предплечий, которые, будучи обнаженными, смотрелись неприлично, точно ляжки. Были еще мозоли, шишки на пальцах, натоптыши и натертости, варикозные вены. Здоровая, как свиноматка, она стонала и жаловалась на боли во всех суставах, на вечные мигрени, большую спину, зубы.

– Болят мои ноженьки, – говорила она, – страсть как болят.

Пукала она громко, даже в общественных местах.

– Доктор говорит, мне надо пускать газы. Извиниться всегда успеется.

Ее привычки вызывали омерзение. Она ковыряла в зубах старыми трамвайными билетами, чистила уши заколками для волос, и в их загогулинах застревала ушная сера, которая со временем темнела и уплотнялась. Она чесала интимные места через одежду со звуком чирканья зажигалки, слышимым через две комнаты. Она сооружала чудовищные сэндвичи из всего, что ела, или же резала еду ножницами. Она выплевывала шкурку бекона или жилки свинины на тарелку, выкапывала застрявшее мясо из пещеристых зубов и показывала его всему миру, а куски побольше поддевала грязными пальцами-сосисками. Она рыгала, как корабль в тумане, наливалась крепким пивом по субботним вечерам и бодро издавала звуки тромбона в уборной. Она ругала всех и вся, без оглядки на прилагательные и грамматику, презирала все книги, кроме «Альманаха старого Мура»⁵, апокалиптические картинки в котором хоть как-то понимала. Неграмотная, она всю жизнь подписывала чеки, копируя свою фамилию с прототипа на засаленном клочке бумаги, выводя буквы так же усердно, как китаец иероглифы. Еду она в основном жарила, но перед тем, как поставить на стол, удостоверялась, чтобы жир был едва теплый. Зато она недурно заваривала чай, чтобы было побольше танинов, и своей методе научила

⁵ Ежегодный астрологический журнал, который издается по типу календаря астролога Ф. Мура (1657–1715).

маленького Эндерби, чтобы он мог приносить ей по утрам чашку в постель: три пакета на каждого человека плюс два на чайник, сгущенное молоко вместо свежего и сахара не жалеть. Стоя у ее кровати, пока она пила (да она в сущности и не пила: чай впитывался в нее, как в иссохшую землю), Эндерби, тогда шестиклассник, думал, что однажды подложит ей в чашку крысиный яд. Но он так этого и не сделал, хотя крысиный яд купил. Ненависть? Вы себе даже не представляете.

Однажды, когда Эндерби исполнилось семнадцать, отец поехал в Ноттингем посмотреть табачную фабрику и заночевал там. Июльская жара (мачеха в такую погоду обнаруживала худшие свои стороны) вылилась в грозу с ужасающими молниями. Но пугал ее только гром. Эндерби проснулся в пять утра и обнаружил ее у себя в постели: в грязной ночной рубашке, она цеплялась за него от страха. Он встал, и его стошнило в уборной. После он заперся там и читал до рассвета обрывки газет на полу.

О ее смерти ему сообщили, когда он был лейтенантом войск связи в Катании. Она умерла, выпив утреннюю чашку чая, которую принес отец. Сердце отказало. Вечером того дня Эндерби подцепил какую-то итальянку (банка тушенки и пакет галет) и, к ее откровенному смеху, ничего не смог. И снова, когда он вернулся в барак, его стошнило.

На том и все. Мачеха раз и навсегда отвадила его от женщин: каким бы изящным или прелестным ни был фасад, ее призрак всплывал в любом деликатном рыганье, в любой зубочистке. Он отменно управлялся без женщин: запирался у себя в уборной, сам готовил себе еду (сперва позаботившись, чтобы жир был чуть теплым), жил на свои дивиденды и фунт-другой, которые приносили ему стихи. Но по мере того как надвигался средний возраст, мачеха будто бы исподволь проникала в него самого. У него ныла спина и болели ноги, у него появился внушительный живот, а все зубы выпали, он рыгал. Он старался быть аккуратным с бельем и вычищать сковородки, но вмешивалась поэзия, возвышавшая его над тревогами из-за грязи или неряшливости. С другой стороны, все больше и больше заявляла о своих правах диспепсия, басовой тубой врывающаяся в ажурное переплетение струнных его маленьких творений.

Творчество. Секс. Вот в чем беда искусства. Неотвязное и острое сексуальное возбуждение, следующее за возбуждением от нового образа или ритма. Но подростковый период предполагал свои способы быстрого облегчения, нормальные отправления в уборной. Шагая в сторону паба «Герб масонов», Эндерби чувствовал, как в желудке у него занимается ветер. Проклятье! Беррп. Что за черт?! В целом, учитывая все и вся, если посмотреть со всех сторон и не слишком вдаваться в детали, он более или менее самодостаточен. Брррп. Черт побери!

5

Арри, шеф-повар ресторана «Конуэй», стоял у стойки «Масонов» с пинтовой кружкой, в которой были смешаны янтарный эль и горькое пиво.

– Вона, – прочавкал он Эндерби и протянул длинный окровавленный сверток. Кровь сворачивалась на газетном заголовке о крови какой-то женщины. – Сказал, что достану, и вона достал.

– Спасибо, и счастливого Нового года. Что будешь?

Он отвернул уголок газеты (раздел «Пропавшие без вести» совсем пропитался кровью), и на него стеклянными глазами уставилась голова взрослого зайца.

– Мож'шь сег'ня змня озаплатить, – отозвался Арри.

На нем была бурая куртка свободного покроя, от которой воняло старым салом, на голове – кепка с козырьком. Из верхних зубов у него остались только два клыка. Они торчали, как воротные столбы, между которыми его язык иногда пролезал туда-обратно неуклюжим грузовиком. Родом он был из Олдема, и вся его речь была приправлена местным акцентом, а тут еще и отсутствие зубов...

– Заяц хорош с желе из красной смородины, – сказал Арри. – Обычно полагается подавать желе из красной смородины на художественно вырезанном крутоне. Вырезаешь дурацкий сухарь ножом со специальной насадкой. Быстренько обжариваешь в масле. Жуть какая, жить совсем одному, и не подумал бы, что ты станешь с зайцем заморачиваться.

Он допил свою кружку янтарного с горьким и взял еще за счет Эндерби.

– Рад был тебя повидать. Мне пора. Особый ланч для Ассоциации продавцов машин Южного побережья.

С прихода Эндерби он махом опрокинул три пинты, и все ровнехонько за две минуты. У него были жуткие желудочные боли, чем он и пришелся Эндерби по нраву.

– До скорого, – бросил Арри, уходя.

Эндерби укачивал своего зайца.

В «Герб масонов» хаживали местные лесбиянки за пятьдесят. Большинство прошло через положенные стадии брака: одни были в разводе, другие овдовели или расстались с мужьями. На табурете в углу сидела женщина по имени Глэдис, крашенная пергидролем еврейка под шестьдесят, в очках в черепаховой оправе и светлых с черными пятнами джинсах. Она целовалась – чаще и страстнее, чем следовало бы в честь Нового года, – со своей подружкой. У этой второй была щетинистая старая шуба, а еще изящное косоглазие. В бар ворвалась свирепого вида женщина в платье, таком же простом и волосяном, как власяница монаха, в распахнутой шубейке из нутрии и тоже получила свою порцию долгих и липучих приветствий.

– Тпру, Пруденс, охолони, – сказала крашенная Глэдис.

Пруденс, похоже, была очень популярна, наверное, благодаря косоглазию, придающему ей особое обаяние. Тут на Эндерби с привычной силой обрушились фрагменты нового стихотворения: он видел форму, он слышал слова, он чувствовал ритм. Три строфы, каждая начинается с птиц. «Тпру, тпру...», как раз таки охолонуть, умерить пыл голуби и призывают, всегда об этом гулькают. Утка-шутка... энергичные, активные слова, на криканье похожи и вообще почти действие... Какие еще есть птицы? Чайки тут не подойдут. Крашенная Глэдис внезапно и хрипло рассмеялась. Есть какая-то птица... От нее еще уйма шума...

В кармане нашлась авторучка, но ни клочка бумаги. Значит, остается лишь обертка зайца. У головы имелась длинная пустая колонка экстренных новостей: в ней только два одиноких результата футбольных матчей. Он записал родившиеся строки. А еще отрывки, которые слышал только смутно. Смысл? Поэту нет дела до смысла. «Власть вдовицей насладиться... скорпиона в поле...» Голосок, очень ясный и тонкий, словно бы зудел ему в ухо: «Сделай дерзновенный выбор свой священный».

Глэдис запела дрянную расхожую песенку, написанную каким-то подростком, такие часто передают по радио. Пела она громко.

– Бога ради, заткнитесь уже! – возбужденно крикнул Эндерби.

– Кому это ты говоришь заткнуться? – возмутилась Глэдис. В ее голосе звучала угроза.

– Я стихотворение пытаюсь писать, – объяснил Эндерби.

– Здесь же вроде приличный паб, – вставил кто-то.

Эндерби проглотил свой виски и ушел.

Быстро шагая домой, он старался снова вызвать мысленно ритм, но тот ушел. Отдельные фразы перестали быть живыми частями мистического тела, обещавшего явить себя целиком. Мертвая, как заяц, бессмысленная ономапопея, дурацкое звяканье: лень-тень, уток-шуток. Великий ритм приближающегося прилива, зимнего ветра с моря, меланхоличных чаек... Порыв ветра разбил и разметал нарождающуюся форму стихотворения. Ну и ладно. Сколь мало удастся поймать из миллиона стихов, кокетливыми девчонками манящими из кустов!

Подходя к дому 81 по Фицгерберт-авеню, Эндерби раздел зайца, сняв с него окровавленную бумагу. Почти у самого крыльца к фонарному столбу крепилась муниципальная урна. Бросив в нее ком новостей, крови и зарождавшейся поэзии, он достал ключ. Аккуратный,

однако, городок. Нельзя снижать планку, даже если нет отдыхающих. На кухне он начал све-жевать зайца. Если потушить с морковью, картошкой и луком, приправить перцем и сельде-рейной солью и полить перед подачей остатками рождественского красного вина, еды хватит почти на неделю. Швырнув кишки в блюдо, он разрубил тушку, а после открыл кран. Руки палача, подумал он, опуская взгляд. По локоть в крови. Он попытался изобразить ухмылку убийцы, даже занес ритуальный нож для жертвоприношений – перед воображаемым зеркалом над кухонной раковиной.

Вода из крана отбрасывала на фаянс мойки еле заметную, но все-таки тень. Пришла строка, рефрен: «От воды бегущей неподвижна тень». Вот опять нарастает напряжение! Лень-тень. И тут выплеснулась целиком строфа:

«Действуй! – в крике уток. – Время не для шуток!
Или всласть вдовицей насладиться лень?
Сделай, дерзновенный, выбор свой священный».
От воды бегущей неподвижна тень.

К черту смысл! Где, черт побери, остальные птицы? Что это были за птицы? Кукушки? Морские чайки? Как звали ту косоглазую лесбийскую дрянь в «Масонах»? С ножом в руке, по локоть в крови, он бросился вон из квартиры, из дома – к урне, приваренной к фонарному столбу. Пока он свеживал и разделявал, мусору прибавилось. Черная коробка из-под фейер-верков, пачка из-под сигарет «Синьор сервис», кожура от банана. Все это он бешено бросал в водосток. Он нашел оскверненную газету, в которую была завернута дичь, и обезумело стал просматривать страницу за мятой страницей. «ЭТОТ ЧЕЛОВЕК, ВОЗМОЖНО, ПРОДОЛ-ЖИТ УБИВАТЬ, ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ ПОЛИЦИЯ. ТЕПЕРЬ ЭТОГО МАЛЬЧИКА ЛЮБЯТ». «Большинство людей останавливают изжогу при помощи «Ренни». Маниакальная тяга читать все подряд. Он прочел: «Кислота, вызывающая боль, нейтрализуется, и вы испытываете чудес-ное ощущение, которое говорит вам, что боль начинает отступать. Противокислотные веще-ства попадают вам в желудок постепенно – капля за каплей...»

– В чем дело? – спросил чиновничий голос. – Что происходит? – Нет сомнений, это был глас закона.

– А? Я ищу треклятых птиц, – ответил Эндерби, снова бешено листая. – Ну слава богу! Вот они. Не до шуток – утки, благоразумен – в шуме. Практически написано. Вот. – Он сунул развернутую газету под нос полицейскому.

– Не так быстро, – откликнулся полицейский, молодой, румяный, как захолистное яблочко, и очень высокий. – Что это за нож? Откуда вся эта кровь?

– Я как раз убивал мачеху, – ответил поглощенный сочинительством Эндерби. – Голубь смотрит строже: «Будь же осторожен».

Он убежал в дом. Женщина из верхней квартиры как раз спускалась и заорала при виде ножа и крови. Переступив порог, Эндерби влетел в уборную, пинком включил обогреватель и сел на низкий унитаз. И тут же по привычке встал, чтобы спустить штаны. Потом, весь окро-вавленный, начал писать. Кто-то стучал – начальственно и настоятельно – в его входную дверь. Заперев дверь сортира, Эндерби продолжал творить. Вскоре стук прекратился. Полчаса спустя стихотворение уже выплеснулось на бумагу.

«Действуй! – в крике уток. – Время не для шуток!
Или всласть вдовицей насладиться лень?
Сделай, дерзновенный, выбор свой священный».
От воды бегущей неподвижна тень.

Голубь смотрит строже: «Будь же осторожен!»
Скорпиона в поле, друг мой, не задень.
Счастье вроде рядом, а не без пригляда».
От воды бегущей неподвижна тень.

Приказ в первой строфе читался достаточно ясно, но был обращен лишь к нему одному. Тут он задумался, а возможно ли взаправду последовать этому совету, сделать этот год отличным от остальных?

Слышу в птичьем шуме: «Будь благоразумен!
Ведь вдовице скорбной уж никак не лень
С милым повстречаться в вихре знойной страсти...»
От воды бегущей неподвижна тень.

Только теперь он услышал, что на кухне потоком течет вода. Забыл завернуть кран. И все это время бегущая вода отбрасывала неподвижную тень. Встав с унитаза, он автоматически потянул за цепочку. Кто та, мать ее, вдовица, о которой говорится в стихотворении?

Глава вторая

1

Пока Эндерби завтракал разогретой тушеной зайчатиной с маринованными грецкими орешками и мачехиным чаем, почтальон принес судьбоносное письмо. Конверт был плотным, богатым, кремового оттенка; напечатанный черным адрес выглядел жирно, точно в машинку вставили новую ленту как раз ради этого священного имени. На самом листе красовался герб известной сети книжных магазинов. В письме Эндерби поздравляли с его прошлогодним сборником («Революционными сонетами») и с превеликой радостью объявляли, что он был удостоен ежегодной поэтической премии фирмы в виде золотой медали и пятидесяти гиней; Эндерби сердечно приглашали на торжественный ланч, который состоится в банкетном зале пугающе фешенебельного лондонского отеля, где ему вручат награды под рукоплескания литературного мира. Эндерби забыл про остывающую зайчатину. Третий вторник января. Просим об ответе. Он был ошарашен. И опять же поздравления. Лондон. Само название пробуждало ту же реакцию, что и рак легких, превышенный кредит, мачеха.

Он не поедет, не может поехать, у него нет костюма. Сейчас на нем были очки, однодневная щетина, пижама, свитер-поло, спортивная куртка и очень старые вельветовые штаны. В платяном шкафу висели фланелевые брюки и муаровый жилет. Устраивая свою жизнь после демобилизации, он решил, что их вполне хватит для поэта, причем муаровый жилет, возможно, был даже неприличной роскошью, экстравагантностью в духе биржевого брокера. Жилет ему по ошибке присудили за пять шиллингов на аукционе.

Лондон. Его захлестнула череда жутких картинок: одни были выведены из собственного опыта, другие – из книг. В конце войны, когда он отыскивал могилу Уильяма Хэзлитта на кладбище в Сохо, на него напал констебль и отволол на Боу-стрит по обвинению в «промедлении с преступными намерениями». Однажды он поскользнулся на тротуаре перед «Фойлзом»⁶, и человек, который помог ему подняться – кряжистый, пожилой, с жесткими седыми волосами, – выклянчил у него пятерку, «помочь чуток, потому как на неделе бастуем, хозяин». Это случилось сразу после приобретения муарового жилета: десять шиллингов псу под хвост. У писсуара в сортире очень задымленного паба его – невероятно! – пригласил на вечеринку с минетом красивый незнакомец в элегантном вечернем смокинге. В ответ на вежливый отказ Эндерби незнакомец повел себя гадко и пригрозил закричать, что Эндерби его домогался. Очень неприятно. К прочим воспоминаниям, от которых Эндерби ежился (включая мучительное о десятифунтовой банкноте в «Кафе-рояль»), примешивались фрагменты «Оливера Твиста», «Бесплодной земли» Элиота и «1984». Лондон был ненужно большим, льстиво враждебным городом, где теряешь деньги и приобретаешь заболевания. Эндерби скривился при мысли о «Дневнике чумного года» Даниеля Дэфо. Опять всему виной, думал он (опорожня сковородку с остывшей едой), мачеха. В возрасте пятнадцати лет он купил у старьевщика на городском рынке томик в одну двенадцатую рецептов, сплетен и назиданий, напечатанный в 1605 году. Но когда он принес его домой, мачеха, умевшая разбирать цифры, подняла крик. 1605-й означал «старые дни», то есть Генриха VIII, топор палача и Великую чуму. Щипцами она сунула книгу в кухонную плиту, вопя, дескать, та кишит смертоносными микробами – ограниченное, хотя и живое, восприятие истории.

И как раз из-за истории она отказывалась ездить в Лондон. Она считала, что там сплошь кровавый Тауэр, демонические цирюльники с Флит-стрит, а еще опасные эскалаторы. Повора-

⁶ Крупнейший книжный магазин Лондона.

чивая кран с горячей водой, Эндерби вдруг сообразил, что котел не вспыхнул, как должен был. В счетчик следовало бросить шиллинг, а ему было лень идти его искать. Он вымыл глубокую тарелку и кружку в холодной воде, размышляя, что в точности так поступала мачеха (ножи и вилки покрывались слоем жира, точно пистолеты смазкой). Она была очень ленива, очень глупа, очень суеверна. Он решил все-таки поехать в Лондон. В конце концов, это не так далеко – всего час на электричке – и незачем проводить ночь в отеле. Наверное, это даже честь. Придется одолжить у кого-нибудь костюм. У Арри уж точно костюм есть. У них приблизительно один размер.

Вздыхнув, Эндерби пошел в сортир к своим трудам. Он с сомнением глянул на ванну, полную записок, черновиков, чистовых копий, еще не включенных в будущий сборник стихотворений, книг, чернильниц, пачек из-под сигарет, остатков случайных перекусов за работой. Имелась еще пара-тройка мышей, которые жили под сором и которых в их деловитом добывании себе объедков поощрял Эндерби. Иногда какая-нибудь из них выбиралась на поверхность и усаживалась на краю ванны посмотреть, как поэт с ручкой в руке пялится в потолок. С ним они никогда не корчились от страха и не робели (он, кажется, забыл значение слова «утаиваться»). Эндерби сознавал, что великое событие потребует принятия ванны. Люстрация перед ритуальным ланчем. Однажды в каком-то женском журнале он прочел мрачную апофегму, которой не забывал никогда: «Принимай ванну дважды в день, чтобы быть по-настоящему чистой, раз в день, чтобы быть сносно чистой, раз в неделю, чтобы избежать угрозы обществу». С другой стороны, Фридрих Великий ни разу в жизни не мылся, и его труп был насыщенного цвета черного дерева. Отношение Эндерби к принятию ванны не отличалось ни одержимостью чистотой, ни *sans souci*⁷ (*Sans Souci*, так ведь назывался любимый дворец самого Фридриха?). В таких делах он был эмпириком. Хотя он признавал, что раз в неделю или две ванна необходима, его ужасало, что придется убирать рукописи, наливать ванну и лишать мышей пристанища. Он пойдет на компромисс: почти целиком вымоется в тазу. Вдобавок с особым тщанием побреется и подравняет волосы ножницами для ногтей.

Большинство современных поэтов, угрюмо подумал Эндерби, не просто сносно чисты, но прямо-таки опрятны. А начало всему положил Т. С. Элиот с его чушью про «Ллойдс банк» – истинное предательство по отношению к клеркам. До него, как хотелось думать Эндерби, чистота и опрятность были уделом лишь авторов журнальных баллад и триолетов. Но он всем покажет, когда поедет за своей золотой медалью: он побьет рифмоплетов на их собственном поле. Эндерби вздохнул, садясь голыми ягодицами на свой поэтический трон. Первым делом надо сочинить письмо с благодарностями. Но проза – не его стезя.

После нескольких помпезных черновиков, которые он смял и бросил под унитаз, Эндерби сварганил письмо похоронными катренами «*In Memoriam*», замаскированными под прозу. «Благодарность за сию премию, хотя и посылаемая со всем смирением, должна исходить однако не от меня, а от моей музыки и от Господа...» Он помедлил, когда из памяти всплыла абсурдная аналогия. В дни отчаянной послевоенной нехватки продовольствия он заказал в одном лондонском ресторане пирог с крольчатинной. Но в пироге, когда его наконец подали, оказалась одна лишь куриная грудка. Сия тайна так и осталась неразгаданной. Отмахнувшись от нее, он продолжил выдавать куриную грудку стихов за крольчатину прозы. Мышка, подбрав лапки наподобие кенгуру, устроилась наблюдать.

2

Эндерби застал облаченного во все белое Арри в его подземной кухне: поставив поближе кружку с янтарным элем, Арри нарезал тонюсенькой стружкой свинину, а придурковатый

⁷ Беззаботный (фр.).

поваренок в хаки бросал на тарелки пригоршни капусты. Промахиваясь, он тщательно подбирал рассыпанные порции с пола и пробовал снова. С грузовика из Смитфилда с прибаутками сгружали порубленные говяжьи туши: жир – цвета золотого руна, мясо – оттенка разбавленного бургундского.

– Мне нужно поехать в Лондон на вручение премии – медали и пятидесяти гиней, – сказал Эндерби. – Но у меня нет костюма.

– Отличный себе прикупишь, – откликнулся Арри, – на такую-то сумму. – Вид у него был не слишком счастливый: он хмурился на свою ювелирную работу, как хирург, спасающий жизнь залятому врагу. – Вот, – произнес он, вилок поднося к свету прозрачный ломтик. – Тоньше не придумаешь.

– Но какой смысл покупать костюм только по такому случаю? – возразил Эндерби. – Я, возможно, вообще никогда больше костюм не надену. Поэтому решил спросить: ты мне свой не одолжишь? У тебя же много.

Арри промолчал. Еще какое-то время порассматривав придиричиво ломтик на вилке, он кивнул, словно принял его вызов и победил. Потом вернулся к прежнему занятию.

– С костюмами ты в точку попал, – с обычной своей чудовищной шепелявостью неразборчиво прошамкал он. – Вечно я людям одолжения делаю. И что я с этого имею?

Он печально глянул на Эндерби, его язык показался и исчез между воротными столбами-зубами, точно смахивая слезу.

– Ты же знаешь, что можешь на меня положиться, – смущенно откликнулся Эндерби. – То есть во всем, на что я способен. Но у меня только один талант, а от него тебе проку мало. Да и всем остальным тоже. – Жалость к себе, очевидно, была заразной. – Помимо сотни или около того человек тут и в Америке. И одной сумасшедшей поклонницы в Кейптауне. Она, знаешь ли, пишет раз в год, предлагая на ней жениться.

– Поклонницы, – сказал, легко переводя во множественное число, нарезающий Арри. – Так значит, поклонницы – вот чего у меня нет. Это я поклоняюсь – вот в чем загвоздка. – Тут помноженный на шепелявость акцент сделался и вовсе не разборчив. – Совсем исчах. – И чуть разборчивее рявкнул поваренку, когда тот простуженно прогнусавил что-то: – Волован де дэндо в том долбаном буфете!

– Кто? – переспросил Эндерби. – Когда?

– Да наверху, – сказал Арри. – Тельма, что подает в коктейль-баре. Я-то знаю, он тает во рту. А она, цаца, чертовски красивая, вот только жуть какая жестокая. – Свиная стружка ложилась и ложилась на стол. – Ужас какая сногшибательная.

– Ну, не знаю, – протянул Эндерби.

– Чего не знаешь?

– Кто сногшибательный.

– Да она же! – Арри ткнул ножом в потолок. – Она наверху. Тельма.

– Так почему ты не пойдешь наверх и не приударить за ней? Только сперва зубы вставь. Знаешь ли, все эти предубеждения насчет зубов...

– А корешки-то мои тут при чем? – удивился Арри. – Я же не съесть ее хочу. Корешки для еды. Я же влюблен, вот в чем заваyka, и при чем тут корешки?

– Наверное, женщинам нравится их видеть, – предположил Эндерби. – Вопрос скорее эстетики, чем практичности. Любовь, говоришь? Ну-ну. Любовь. Давно уже я не слышал, чтобы кто-то был влюблен.

– Да сегодня влюблены все кому не лень. – Арри дорезал свинину и хлебнул своей смеси. – По радио только об этом и твердят. Я раньше над такими дурнями смеялся. А теперь сам влип. Любовь. Чертова доyuка, да еще в такое время года, когда дел неупророт. Фирмы устраивают ланчи да обеды до самого конца февраля. Не мог выбрать худшего времени.

– Так насчет костюма... – начал Эндерби.

Перед ним высилась огромная стеклянная банка с маринованным луком, и при виде ее кишечник грозился заработать. Ему хотелось уйти.

– Можешь сделать для меня кое-что, – сказал Арри, – если от меня чего-то хочешь, чтобы я тебе сделал. – Попробовав на вкус последнее местоимение, он решил, что его откровение требует более «высокого штиля»: – Сделал для тебя, – поправился он. – Я одолжу тебе костюм, если ты напишешь ей за меня, это ведь по твоей части, кропать стишки и все такое. Я посылаю ей наверх всякие вкусности, специально для нее готовлю, но это не слишком романтично. Отменные потрошка в сливках. Они всегда были мои любимые, когда еще было чем есть. А она отсылает их вниз нетронутыми, честное слово. Незадача. Лучше всего сошло бы симпатичное любовное письмецо или жалостные стишки. Вот тут-то вступаешь ты, – продолжал Арри. Его змеиный язык показался и исчез. – У меня есть серый, синий, коричневый, бежевый и твидовый в елочку. Выбирай какой хочешь. Сочинишь и подпишешь «Арри» и пошлешь мне, а я перешлю ей наверх.

– Так и написать? «Арри»? – спросил Эндерби.

– Да нет, через «Г» – как «Гарри», а то заладили все Арри да Арри. Две недели стишков – самое оно. Тебе ведь всего пару-тройку минут надо, чтобы написать такое, что женщины любят. Ты с твоими покойницами все ходы-выходы знаешь.

Перед тем как вернуться к себе, Эндерби воспользовался – длительно, от души и с мукой – мужской уборной на первом этаже отеля. Потом, потрясенный, поднялся в коктейль-бар – выпить виски и посмотреть на Тельму. Нехорошо получится, если он раскопает старые стихи или напишет новые, прославляющие светлые волосы и жемчуга зубов, а она окажется брюнеткой, да к тому же беззубой.

В бар на втором этаже набились торговцы машинами, которые с гоготом и устарелыми прибаутками ухлестывали за весьма импозантной барменшей под сорок. У нее все передние зубы были на месте. Еще ее украшали черные волосы, озорной взгляд, длинные серьги, которые тоненько позвякивали каскадиками крошечных монеток, вздернутый носик и приятный округлый подбородок. Природа наделила ее весьма пышным бюстом. Судя по ее репликам, она была неистощимым кладезем старой барной мудрости, эпиграмм и фразочек из радиопередач. Один торговец машинами купил ей «Гиннесс», а она в ответ угостила его тостом: «Да жить вам вечно, а мне столько, чтобы вас похоронить». Потом, перед тем как выпить, она сказала:

– По губам текло, в животе тепло!

И отхлебнула солидный глоток. Свой небольшой бар она украсила деревянными дощечками с выжженными афоризмами: «Смейся, и мир будет смеяться вместе с тобой. Храпи – и будешь спать один», «Вода, увы, не утоляет жажды», «Если попал из огня да в полымя, уподобься чайнику: свисти». Над батареей бутылок джина красовалась строфа из Элизабет Браунинг (по смыслу, пусть и не по стилю):

И когда Арбитр подведет итог,
для тебя открывая астрал,
Он примет в расчет не финальный счет,
а то, хорошо ль ты играл.

Эндерби усомнился, что сможет добиться такой же гномической натяжки в посвященных ей стихах.

3

К любовной лирике Эндерби относился бесстрастно, безлично и профессионально. Он всегда полагал, что наихудшие любовные стихи самые искренние: слишком уж часто трепет-

ные чувства влюбленного (чересчур личные, обращенные на чересчур уж конкретный предмет) мешают идеальному, вселенскому. Любовное стихотворение должно обращаться к идее возлюбленной. Платоническое чувство способно вобрать в себя идеальную грудь, идеальную вонь подмышек, идеальное неудовлетворительное соитие, равно как и призрак с высоким гладким челом, витающий у сонетистов былых времен. Вернувшись в собственную уборную, Эндерби поискал отрывки и черновики того, что дало бы толчок циклу «Арри к Тельме». Он нашел поеденное мышами:

Искал я аромат – нашел в твоих кудрях.
А свет предвечный мне сиял в твоих очах.
Где речь, коль не в твоём дыханье, дорогая?
Движенья я постиг, когда обрел тебя я.

Вполне сошло бы за первый катрен шекспировского сонета. Разумеется, тут он не к месту: в мире Тельмы ритм-пружина и замаскированные рифмы будут восприняты как неумение рифмовать. Потом нашлось:

Ты была – и не было слов,
Слова срывались не с губ – с обрыва,
носились в воздухе.
Но внезапно, в некую долю мгновенья, я понял,
Содрогаясь в холодном, бесстрастном исступлении:

Безумные порывы, заточенные в записных книжках,
Деревья, столы, война, связи сложные
между ними, —
Лишь ты придавала им форму, была движущей
силой.
Ты рядом, – я осознал, – а все остальное неважно.

Он не помнил, чтобы это писал. Упоминание войны датировало строки последними шестью годами. Место? Скорее всего, город с бульварами, столиками под открытым небом. К кому обращено? Да не глупите же, черт побери! Разумеется, ни к кому не обращено; чистейшая идеальная эмоция. Он продолжал копаться, по локоть погрузив руки в ванну. Мыши бежали в свой изначальный дом под половицу. Он нашел половину бесценного образчика раннего творчества:

Вся ты —
Острый кристалл.
Твои руки —
Сталь под серебряным шелком.
Пышны твои волосы,
Как полевые колосья, вспоенные летним зноем.
В тебе таится отблеск сияния
Плоти нагой купальщицы...

Далее рваный край. Наверное, у него в какой-то момент схватило живот. В ванне не нашлось ничего, что подошло бы для Тельмы, даже для идеи Тельмы. Придется сочинить что-то новое. Обнажив свою нижнюю часть для поэтического труда, он опорожнился и принялся

за работу. Истинная проблема заключалась в том, как преодолеть пропасть, сочинить такой стих, который не показался бы эксцентричным получателю и одновременно не оконфузил бы автора. Час спустя он выдал следующее:

Солнце красы меж тарелок сияет,
Стан у плиты робкий взор мой смиряет.
С грацией кошки, наевшейся сала,
По полу кухни ты мягко ступала,
Облагородив изысканным чувством
Пошлость картошки, вульгарность капусты.

Полны любовью омлет и бифштексы,
Томно от нежности сдобное тесто,
Свекла румяна от страсти. Салата
Листья – что ветви Эдемского сада.
Пудинг трепещет, любви не тая, —
Так трепещу, дорогая, и я.

Но после двух этих вымученных строф он обнаружил, что ему трудно остановиться. Его безжалостно несло, и он давал себя нести в ужасе от все растущей легкости, от неподдельной логореи. Под конец оды он уже перебрал все предметы на кухне Арри и заполнил десяток страниц убористым почерком. Хотелось надеяться, что хотя бы одно он совершенно ясно дал понять: Арри влюблен.

4

Наступил день торжественного ланча. Трепещущий Эндерби вылез из кровати рано и увидел, что в утренних сумерках пошел снег. Дрожа, он включил все обогреватели в квартире, потом заварил чай. Снег бессмысленно пялился на него изо всех окон, поэтому он задернул шторы, превратив промозглое утро в уютно-кексовый, тепло-носочный вечер. Потом побрился. Вечером третьего дня он помылся довольно основательно. Он почти забыл, каково это бриться новым лезвием, поскольку вот уже почти год пользовался старыми, сложенными стопочкой прошлым жильцом на шкафчике в ванной. Сим утром он располосовал себе щеки, нижнюю губу и адамово яблоко: пена от мыла для бритья превратилась в детское мороженое, sprysнутое смородиновым сиропом. Эндерби нашел старое стихотворение: «И если он сделал, что обещал...» и его обрывками остановил поток. Он начал одеваться, начав с новой пары носков, купленной на январской распродаже, и хорошенько заправив в них брючины пижамных штанов. Затем последовала белая рубашка, специально выстиранная. Полосатый галстук (лайм и горчица) он нашел в чемодане с именем «ПЭДМОР» чернилами по белой тряпочке, пришитой к подкладке (кто есть, был или, возможно, в нереализованном будущем кем станет этот Пэдмор?), и с большим тщанием почистил свою единственную пару коричневых ботинок. Еще два чистых носовых платка – высморкаться и покрасоваться. Он побьет этих городских модников на их собственном поле. Строго серый костюм от Арри был самым элиотовским во всем его гардеробе.

Эндерби приятно удивила торжественная благопристойность фигуры, поклонившейся ему из зеркала платяного шкафа. Элегантный, респектабельный, академичный – поэт-банкир, поэт-издатель, зубы сверкают, как у актера, в свете электрического камина, очки впитывают сияние прикроватной лампы. Довольный собой он пошел завтракать: завтрак сегодня особенный, ведь один бог знает, какой жуткой дрянью под соусом его безжалостно накормят в вели-

колепном светском отеле. Жаренный в масле пирог с начинкой из мяса и капусты он купил заранее, но, выходя из лавки, поскользнулся на льду. Падение причинило ему боль и расплющило пирог, но съедобности последнего не повредило. Съесть его полагалось с брэнстоновскими пикулями и – в качестве особого лакомства – запить кофе «Блю маунтин». Собирая сейчас эту ритуальную трапезу, Эндерби испытал нежеланное ликование, точно – после многих лет борьбы и лишений – наконец добился успеха. Что купить на премию? Одежду? Ха-ха. Ему же ничего больше не нужно, разве только чуточку больше таланта. Ничего на свете.

Кофе его разочаровал, оказавшись холодноватым и слабым. Может, он неправильно его приготовил? Можно ли брать в таком деле уроки? Существуют ли для такого учителя? Арри. Ну конечно, он попросит Арри! В четверть десятого (поезд в девять пятьдесят, десять минут пешком до вокзала) он сидел с сигаретой, загипнотизированный чередующимися сполохами золотого и алого в электрическом камине, и ждал, когда надо будет выходить. Внезапно его – как блоха – укололо еще одно воспоминание. Далекое детство. Рождество 1924 года. После полудня пошел снег, преобразив трущобную улочку, где располагалась лавка отца. Ему подали волшебный фонарь, и после обеда ему полагалось проецировать слайды диких животных на стену гостиной. Волшебный фонарь приводился в действие свечой, свеча была новая, зажженный фитиль оказался слишком высок для линзы. Его дядя Джимми, водопроводчик, сказал: «Придется подождать, пока он не сгорит чуток. Сыграй-ка нам что-нибудь, Фред». И Фред, отец Эндерби, сел за пианино и заиграл. Остаток того смутного вечера (память сохранила ярко только громко рыгающую мачеху) все ждали, когда свеча догорит до уровня линзы, чтобы на стене внезапно появились раскрашенные животные.

Почему, спросил вдруг себя теперь Эндерби, почему никому не пришло в голову обрезать свечу? Почему все они, все до единого, согласились ждать, когда соблаговолит свеча? Еще одна загадка, но он спросил себя, а действительно ли это загадка иного порядка, чем нынешнее ожидание: ожидание, когда отмеряющая время шекспировская свеча сгорит достаточно, чтобы пора было тепло одеваться и идти на вокзал. Внезапно Эндерби страстно пожелал срезать всю длинную свечу до самого огрызка – написать свои стихи, и делу конец... – и усмехнулся, когда его желудок, ловко нагнав на него меланхолию, жалобно расписался под такими мыслями. Пффффрррп. А после: брррр.

Надо же, какие металлические звуки умеет выдавать его желудок... Но тут он с раздражением сообразил, что это все же дверной звонок. Так рано и так не вовремя... Приоткрыв входную дверь, Эндерби увидел, как к ней вразвалочку возвращается его домохозяйка миссис Мельдрам. Ладно. Платит он ей по почте. Чем меньше он с ней видится, тем лучше.

– Можно вас на минутку, мистер Э.? – сказала миссис Мельдрам.

Ее лицо словно бы списали с усталого, но веселого полумесяца из рекламы напитка из солодового молока перед сном, какая часто попадалась на глаза Эндерби: острый нос Панча встречается с не менее острым подбородком, но при полном отсутствии милой припухлости Панча. У нее имелся полный набор пластмассовых зубов цвета мелких осколков грязного льда, и теперь она их словно зеркалу показала Эндерби.

– Мне нужно ехать в Лондон, – сказал Эндерби и испытал приятную дрожь от таких слов: он же деловой, светский человек.

– И минуточки не задержу. – Переваливаясь, она протиснулась мимо Эндерби, словно к себе домой, как, впрочем, оно и было. – Только заберу шиллинги из счетчика электричества, – продолжала она, – из-за которых я, кстати, зашла. Иными словами, дело в жалобах.

Она прошла вперед Эндерби в гостиную, а там придирчиво рассмотрела остатки завтрака Эндерби на столе, комично покачала на них головой, а после, взяв банку с пикулями, прочла наклейку, как священник, проборматывающий мессу:

– Сахар, цветная капуста, лук, солод, уксус, томаты, морковь, винный уксус, соленые огурцы, финики.

– Из-за каких жалоб? – спросил Эндерби, как от него и ожидалось.

– Новый год, конечно, особый случай, поскольку требует веселья, но миссис Бейтс, что живет в подвале, жаловалась на очень громкое пение, ее мучила боль в спине. Она говорит, часто упоминалось ваше имя, особенно в одной очень грубой песне. А первого января видели, как вы бегали взад-вперед по улице с разделочным ножом, да еще весь залитый кровью. Ну так вот, мистер Эндерби, веселье, как говорится, весельем, но должна признаться, что в мужчине вашего возраста меня такое удивляет. Полицейские потихоньку перемолвились словечком с мистером Мельдрамом, я-то о том не знала и из него выудила только прошлым вечером, он ведь такой робкий и сдержанный и никому неприятностей не хочет. Так вот, мы об этом поговорили, и так больше, мистер Э., продолжаться не может.

– Я все могу объяснить, – сказал Эндерби, поглядывая на часы. – На самом деле все очень просто.

– И раз уж мы затронули эту тему, – сказала миссис Мельдрам, – та милая молодая пара наверху... Они говорят, что иногда слышат вас по ночам.

– А я слышу их, – возразил Эндерби, – и они совсем не милая молодая пара.

– Ну это как посмотреть, верно? Для чистых все чисто, можно так выразиться.

– К чему вы клоните, миссис Мельдрам?

Эндерби снова посмотрел на часы. За последние тридцать секунд пролетели пять минут.

– Много кто хотел бы получить такую миленькую квартирку, мистер Э. Это, право слово, респектабельный район. Тут у нас директора школ на пенсии и капитаны промышленности на покое. И ничего не скажу о том, как вы содержите ее в чистоте и порядке.

– Это мое дело, миссис Мельдрам.

– Может быть, это ваше дело, мистер Э., а может, и нет. И как вам, вероятно, известно, все в этом году плату повышают. А если учесть, как растут цены, все мы должны блюсти собственные интересы.

– А, понятно, – сказал Эндерби. – Вот в чем дело. Сколько?

– Никто не станет отрицать, вы очень умеренно платили, – ответила миссис Мельдрам. – Вы весь сезон снимали квартиру за четыре гиней в неделю. Есть один джентльмен, он работает в Лондоне, но очень хочет найти респектабельное жилье. Для него шесть гиней были бы очень разумной квартплатой.

– А мне она очень разумной не кажется, миссис Мельдрам, – сердито произнес Эндерби. Стрелка у него на часах бодро рысила вперед. – Сейчас мне надо уходить. Мне надо поспеть на поезд. – Тут до него дошло: – Вы отдаете себе отчет, что это будет лишних восемь гиней в месяц? – Он был взаправду шокирован. – Где я возьму такие деньги?

– Джентльмен с собственными средствами, – самодовольно откликнулась миссис Мельдрам. – Если не хотите оставаться, мистер Э., всегда можете за неделю предупредить, что съезжаете.

Перед Эндерби замаячила ужасающая перспектива разбирать целую ванну рукописей.

– Сейчас мне надо идти, – сказал он. – Я дам вам знать. Но я считаю, это чересчур.

Миссис Мельдрам не двинулась с места.

– Так бегите на свой поезд и подумайте о моих словах в вашем вагоне первого класса. А я выну шиллинги из счетчика, как иногда полагается делать. И на вашем месте перед уходом я сложила бы тарелки в раковину.

– Не трогайте мои бумаги, – предостерег Эндерби. – В ванной бумаги личного и конфиденциального характера. Если хоть одну тронете, пеняйте на себя.

– Очень мне надо на себя пенять, – издевательски отозвалась миссис Мельдрам. – Не нравится мне, как это звучит. Бумаги континентального характера! В моей-то ванной!

Тем временем Эндерби повязал шарф и продрался – точно к свету – в рукава пальто.

– В жизни ничего подобного не слышала, и это факт, – продолжала миссис Мельдрам, – а я уже давненько квартиры сдаю. Слышала про уголь в ванной у кое-каких нерях, хотя благодарю Всевышнего, что ни одного такого на своей груди не пригрела. Вы так и пойдете, мистер Эндерби, с ключками бумажек по всему лицу? Я вот туточки, рядом с вашим носом, даже слово прочесть могу: «эпилептический» или что-то в таком духе. Ни себе, ни мне, никому из других жильцов вы, мистер Э., чести не сделаете, если на улицу в таком виде пойдете. Пенять на себя, очень надо!

А Эндерби заколебался. Он не рассчитывал, что придется подыскивать новое жилье – только не посреди «Ласкового чудовища». А городок все больше и больше становился спальным районом для лысых молодых людей из Лондона. В одном пабе он повстречал главу новостной компании, неумеренного любителя джина с высоким и нервным голосом. А в другом месте слышали какого-то директора по плавленому сыру: тот говорил чересчур громко и беззастенчиво. Лондон полз на юг к Ла-Маншу.

Эндерби же полз на север к вокзалу, срывая случайные слова с бритвенных порезов. Снег уже затоптали – те, кто с неискренним пылом спешил на работу в Лондон. Эндерби же семеня несмелыми шажками гавота из страха поскользнуться, зад у него все еще болел от вчерашнего падения. Рабочие поезда, стенографические поезда, чиновничьи поезда. Крупные сделки по телефону, пятьдесят гиней для них – курам на смех. Деньги на шары для гольфа. Но, думал Эндерби, они покроют полгода увеличенной квартплаты.

Подняв взгляд на цинковое небо, он увидел, как чайка-другая, взмахивая крыльями, направляются прочь от моря. Вот уже два дня он пропускал кормление чаек: он становится беспечным. Возможно, смутно думал Эндерби, он мог бы загладить перед ними вину, купив особое лакомство в «Арми энд Нэйви». Он миновал здание, заклеенное яркими плакатами. Один перевозносил местный газ: улыбающийся игрушечный Всевышний по имени мистер Терм царил над своего рода теплым Святым Семейством. Пятидесятничные термы, пятидесятничная сперма. Со стороны вокзала, словно дезертируя, шагали двое в крашенных армейских шинелях и с лицами безутешных драчунов.

– Никак не решится, мать его. Вчера дождь, сегодня снег. Завтра опять моросить будет.

Эндерби пришлось остановиться, чтобы перевести дух, сердце у него бухало молотом, словно он только что одним махом опрокинул полбутылки бренди, левой рукой он цеплялся за увенчанную снегом изгородь из бирючины. Пятидесятничная сперма моросит... Нет, нет, нет. Падает с шорохом... Строку ему сдали как карту из дозировочного автомата. Целая поэма привиделась ему вдруг в облике злобного приземистого механизма, оценивающего, выжидающего. Святое Семейство, Дева Мария, пятидесятничная сперма. Раздался свисток поезда. Надо поторапливаться.

Запыхавшись, он влетел в небольшой кассовый зал, доставая из правого внутреннего кармана бумажник. У кассы все еще стояла елка. Так неправильно: двенадцатая ночь закончилась, и день Зимнего свадебника снова запустил колесо трудового года. Эндерби приблизился к суровому беспиджачному за стойкой.

– До Лондона и обратно, – взмолился он.

Забрав сдачу вместе с билетом, он уронил шиллинг, который покатился по полу.

– Не потеряйте, мистер, – посоветовала бойкая старуха в черном. – Подзаправиться понадобится.

И загоготала, когда Эндерби погнался за сверкающим моносипедом до самого барьера, где его поймал тяжелым ботинком контролер.

– Спасибо, – сказал Эндерби.

Подобрав с пола монетку, поднимаясь с затуманенными глазами, он увидел очень ясное и голубое изображение Девы Марии за прялкой – серебряная королева в обрамлении лазури. Это

не имело никакого отношения к «Ласковому чудовищу» и его Марии-Пасифае. Это касалось его мачехи.

В дрожащую плоть утробы, сурово и мерно,
Вливался с шумом поток благочинной спермы...

Нет, не так. Ритм не тот, это же не строфы. Строфы сложились из монолога королевы в «Гамлете». Дальней, дальней, печальной. Эндерби протопал вниз по ступеням и вверх по ступеням на платформу. Поезд как раз подходил. Где-то есть рифма на «-ерно». Эндерби поднялся в вагон. Пассажиров в этот час было немного: женщины, собирающиеся биться на январских распродажах, академического вида полицейский инспектор с чемоданом, двое очень даже похожих, рассеянно подумал Эндерби, на него самого: хорошо одетые, элегантные, нормальные. Голубка, голубь... Голуби происходят от единого праголубя... Голубь значит параклит.

– Прошу прощения? – переспросила женщина, сидевшая наискосок от Эндерби.

В купе они были вдвоем. Худая блондинка, утомленная, за сорок, элегантная, в норковой шубке-накидке и шляпке «воронье гнездо».

– Лилия, вея, себорея, – отозвался космополит Эндерби. – Диарея.

Поезд запыхтел на северо-восток с настоящей любовью к Лондону, сперма, которая будет проглочена гигантским чревом...

– Бронзовея, – громко и возбужденно возвестил Эндерби. – Гигантской Евы утробой поглощенной. Так я и знал, что Ева тут рано или поздно появится.

Подобрав сумочку и серебристо-серую пару перчаток, женщина покинула купе.

– Уходит Ева, – сказал Эндерби.

Где бумага? Ни клочка. Он не ожидал, что день получится рабочий. Чернильный карандаш у него при себе имелся. Встав, он последовал за женщиной в коридор. Она ринулась – с котячьим визгом – в следующее купе, где троица сероватых домохозяек болтала в преддверии распродажных битв. Эндерби – с уверенностью возвращающегося домой почтового голубя – двинулся напрямик в уборную.

5

Дрожало пространство. В него сурово и мерно,
Гигантской Евы утробой поглощенный,
Вливался с шумом поток благочинной спермы...

Полностью одетый, Эндерби сидел на крышке ватерклозета, покачиваясь, словно верхом на палочке-коняшке до Чаринг-Кросс. Нет, до Лондонского моста. Нет, до вокзала Виктория. Электрическая сперма низвергалась к Заступнице Побед Виктории, и Эндерби верхом. Он извлек из держателя рулон туалетной бумаги и что было мочи строчил чернильным карандашом на разделенных перфорацией квадратах. Из-под чернильного карандаша определенно рождалась песнь во славу Благословенной Девы.

Откуда взялась эта тема? Эндерби знал. Он помнил свою детскую спальню с назидательными картинками итальянских коммерческих художников: благословляющий верующих папа Пий XI в тройной тиаре; Иисус Христос с выставленным напоказ радиоактивным сердцем (для верности в него тычет божественно изящный указательный палец); святые (Антоний, Иоанн Креститель, Бернадетта); Дева Мария с нежной улыбкой и в симпатичной...

Я был никто и все, себя отринув, —

Изыщество, что так легко открыть
В движение тихом незнакомца-сына.

За дверью спальни стояла чаша со святой водой, высохшая в засуху мальчишеского неверия Эндерби. По всему дому, до ничейной полосы или даже протестантской земли в лавке, имелись другие чаши со святой водой, а еще распятия, гипсовые статуэтки, увядшие пальмовые листья из Святой земли, благословленные в Риме четки, пара-тройка «Агнцев Божиев», декоративные благочестивые изречения-семяизвержения (изготовленные в Дублине псевдокельтским письмом), краткие как рывканье. Таков был католицизм мачехи, импортированный из Ливерпуля: реликвии, эмблемы и агиографы, используемые как громоотводы; ее вера – всего лишь страх перед громом.

Католицизм семейства Эндерби пришел из маленькой католической общины неподалеку от Шрусбери, из деревни, которую Реформация лишила не веры, а здания церкви. И без того чахлый в отце-табачнике (пустые тарелки в Великую субботу, пьяная полночная месса на Рождество и не больше), он умер в его сыне-поэте благодаря мачехе. Теперь, более двадцати лет спустя, слишком поздно взглянуть на него свежим взглядом – на его интеллектуальное величие, на его холодную, внятную теологию. В отрочестве Эндерби вырвался из него с горькими слезами (не без помощи Ницше, Толстого и Руссо), и борьба за сотворение собственных мифов сделала из него поэта. Теперь он не мог к нему вернуться, даже если бы захотел. И даже если бы вернулся, то стал бы выискивать новообращенных, которые писали триллеры из ощущения вечного проклятия, или таких, кто, образовав эксклюзивный клуб новообращенных оксфордianцев, делал вид, будто это церковь, и все равно не пустил бы к себе Эндерби. Такого известного апостата, как Эндерби, пришлось бы прогнать на задворки к разным диким ирландцам. А потому лучше молчать о своей вере или утрате ее (на вопрос о вероисповедании при записи в армию Эндерби ответил «гедонист», и его заставили принимать участие в парадах Объединенной коллегии); единственной проблемой было то, что его муза молчать не желала.

Под сводом смех сгущался, бронзовея.
Спешили червь и рыба получить
С его груди безвестности лилею.

В конечном итоге религиозная принадлежность не имеет значения. Гораздо важнее понять, какие мифы еще сохраняют достаточную эмоциональную силу, чтобы их использовать. Поэтому Дева Мария теперь произносила свой последний триплет у ручной прялки, чуть улыбаясь в элегантной лазури:

Но вот путем голубки – дольней, дальней —
Они ушли, чтоб горе позабыть
Любви ненужной, горькой и печальной.

Слишком уж много любви кругом разлито, беспокойно думал Эндерби, недовольно перечитывая стихотворение. Он понимал, что помимо очевидного поверхностного мифа речь в нем о становлении поэта. На последнем куске туалетной бумаги он написал: «Всякая женщина – мачеха», а потом спустил его в унитаз. Вот это обладает универсальной ценностью! А теперь, судя по громкой темноте за стенами кельи, где на протяжении часа выбраживалось его стихотворение, он уже на вокзале. Рев морских котиков в цирке, грохот падающих ящиков, цоканье высоких каблуков по платформе, шипенье, дрожь и тряска, когда поезд – по выражению поэтов елизаветинской эпохи – испустил дух.

Глава третья

1

Несколько часов спустя Эндерби сидел в величественном зале, ошеломленный напитками, блюдами и неискренними похвалами. Далеко не отборная сигара дрожала между пальцами, которые (Эндерби только теперь это заметил) он забыл оттереть пемзой. В дремоте зимнего полудня многие из слов ораторствующего сэра Джорджа Гудби проплывали мимо его ушей. По обе стороны стола двадцать с чем-то собратьев по перу кутались в клубы сигарного дыма, их лица колыхались перед Эндерби, как две веревки сохнувших трусов на ветру. В животе у него с силой била копытом и гарцевала эдакая конная статуя, символизирующая разом время и Лондон. Ему хотелось поковырять в носу. Изюм всех жидкостей, которые он успел употребить, почему-то именно коктейль «Кровь палача» взболтался глубоко в кишковом шейкере, а после бросился назад ему в глотку, мол, попробуй. На закуску подали маслянистую телячью голову под соусом с очень свежими булочками и взбитым маслом. За ней последовали утка на вертеле (от которой Эндерби положили на тарелку самый жирный кусок), горошек и картофель в масле, едкий апельсиновый сок и густая чуть теплая подлива. Клюквенный пирог с непропеченной коркой, обильно политый заменителем взбитых сливок. Сыр.

Сыр. Эндерби улыбнулся в ответ незнакомой женщине по ту сторону стола, которая улыбалась ему. Я всегда восхищалась вашей поэзией, но увидеть вас во плоти – истинное откровение. Ну да, как же. Перррп.

– Видение чистейшей красоты, – вещал сэр Джордж. – Магическая сила поэзии преобразовать сор повседневного мира труда в ярчайшее золото.

Сэр Джордж Гудби был древним старцем, чьи видимые части были изготовлены, по всей очевидности, из кусков хорошо выделанной кожи. Еще в юности он основал фирму, носившую теперь его имя. Фирма разбогатела главным образом на топорных или непристойных книгах, за которые брезговали братья другие издательства. Пожалованный Рэмсеем Макдональдом⁸ титулом баронета за вклад в распространение грамотности среди населения, сэр Джордж всегда желал внести вклад в литературу не только продажами, с юных лет он чаял стать голодающим поэтом, признанным только после смерти. Заморенные стихи он продолжал писать еще долгое время после того, как судьба приговорила его к сколачиванию состояния, и шантажом (угрозой бойкота всеми магазинами ее тиражей) заставил одну маленькую нищенствующую фирму опубликовать его сборник, потом еще один и еще. Он оплатил все расходы по изданию, рекламе и распространению сборника, но репутация нищей фирмы была загублена. Сборники скверных виршей сэра Джорджа, запоминавшихся лишь тем, насколько они плохи, назывались «Метрические сказания волынщика», «Сон о веселой Англии», «Лепестки роз памяти» и «Оптимист поет». Разумеется, он не мог принудить людей покупать или даже читать эти ужасающие стихи, но раз в год, презентуя чек и медаль собрату-певцу (как он кокетливо его именовал), обильно приправлял свою речь ошметьями собственных творений, чем доводил слушателей до корчей от неловкости.

– Гиганты дней моей юности, – говорил сэр Джордж, – Добсон, Уотсон, мистик сэр Эдвард Арнольд, революционер Бриджес, насмешник Колверли, смельчак Барри Пейн...

Неглубоко затянувшись сигарой, Эндерби почувствовал, как дым дерет горло. Опять возникла картинка из детства: учительница в начальной школе объясняет, что такое душа и как ее разъедает грех. Мелом она нарисовала на доске большой беловатый предмет, похожий

⁸ Премьер-министр Великобритании в 1930-х гг.

на головку сыра (душа), а потом послушавленным пальцем поставила далматиновые пятна (грехи). По какой-то причине Эндерби всегда мог ощутить на вкус ту меловую душу (вкус был как у скисшей сырой картофелины), и сейчас этот привкус ощущался очень остро.

– Душа, – уместно ораторствовал сэр Джордж, – коия есть прелестное поле для скитаний поэта, море, по которому он плывет на своей барке рифм, его возлюбленная, которой он поет. Душа для проповедника – воскресная забота, для поэта – хлеб насущный.

Его насущная сырая картофелина... Эндерби почувствовал, что в животе у него занимается урчание.

– Позвольте навязать вам, – кокетливо засиял сэр Джордж, – мой собственный сонет, весьма подходящий для данного случая.

И начал декламировать – высоким голосом и на одной-единственной монотонной ноте – стихотворение из четырнадцати строк, которое было чем угодно, только не сонетом. Там имелись ярко-зеленые луга и лучезарное солнце со сверкающими лучами, а еще – по какой-то причине – розовогрудая земля. Эндерби, поглощенный попытками подавить шумы собственного тела, улавливал только отрывки изумительно скверного стихотворения и одобрительно кивал, чтобы показать, что считает, что сэр Джордж выбрал очень удачный пример очень низкопробного рифмоплетства. Когда гнусаво, как из волюнки, выдавилась, наконец, жалкая последняя строка, Эндерби почувствовал, что ветры надвигаются очень бурные, поэтому постарался замаскировать шум смехом.

– Ха, ха (перрпф), ха!

Сэр Джордж был скорее удивлен, чем недоволен. Секунд пять он изумленно пялился на Эндерби, потом, дрожа, пробежал глазами машинописный текст речи, точно боялся, что туда закралась двусмысленность копрологического толка. Удостоверившись, что все в порядке, он, подрагивая выдубленными брылями, хмуро глянул на Эндерби, потом сделал глубокий вдох, намереваясь продолжить пространную речь. Едва он открыл рот, как Эндерби – точно по злополучной подсказке – выдал:

– Бррбррпкррк.

– Самая удачная и лаконичная критика, какую мне доводилось слышать, – сказал Шем Макнамара.

У него было буревое ирландское лицо о двух подбородках, космы на голове и черная рубашка (чтобы сэкономить на стирке). Если Эндерби в своем повседневном одеянии поэта выглядел убого, то этот писатель смотрелся нищим бродягой, привыкшим спать в амбарах и продираться через изгороди. Усталые бледные лица других гостей (их Эндерби различал лишь смутно) задержались от смешков. И внезапно сам сэр Джордж как будто выдохся. Он слабо улыбнулся, нахмурился, открыл рот, будто от немой радости, снова нахмурился, сглотнул и сказал невпопад:

– И как раз по этой причине я с особым удовольствием награждаю нашего собрата-певца... э... э... Эндерби золотой медалью Гудби.

Эндерби встал под аплодисменты, достаточно громкие, чтобы заглушить три пулеметные очереди из кишечника.

– И чеком, – продолжил сэр Джордж с ностальгической тоской по нищете поэта, – который очень, очень мал, но, хочется надеяться, на месяц-другой избавит его от тягот.

Забрав свои трофеи, Эндерби пожал сколько-то рук, притворно поулыбался, потом снова сел.

– Речь! – потребовал кто-то.

Эндерби снова встал (на сей раз очередь прозвучала чуть глуше) и только тут сообразил, что понятия не имеет, что предписывает в таком случае этикет. Как обращаться к сэру Джорджу? А к собравшимся? Следует начать со слов «господин председатель»? А тут вообще есть председатель? А если председатель сэр Джордж, надо ли говорить что-то помимо «госпо-

дин председатель»? Или просто сказать: «Сэр Джордж, леди и джентльмены»? Но тут он заметил в полумраке некоего человека, на груди которого поблескивала должностная цепь. Может, это глава какого-то муниципалитета или даже сам лорд-мэр Лондона. Что следует сказать? «Ваша честь»? К счастью, он вовремя углядел, что это какой-то холоп, отвечающий за вино. Как нервно улыбающийся Эол, с трудом сдерживая ветры, Эндерби громко и четко произнес:

– Сент-Джордж⁹. – Опять смешки. – И дракон, – пришлось теперь добавить ему. – Британский кимвал, – продолжал он, с ужасом глядя на представший перед ним неоновыми огнями на дальней стене орфографический ляп. – Британский кимвал, что позвякивает глухими басами, когда в нас нет ясности.

Ответом ему стало одобрительное ерзанье: речь Эндерби произнесет краткую и юмористическую.

– Как ее имеют или не имеют большинство из нас, – с отчаянием продолжил Эндерби. – По тому или иному вопросу. Включая меня.

Он увидел, как глаза у сэра Джорджа превращаются в черные дыры, точно это он, Эндерби, болтается на традиционной балке над трактиром.

– Ясность, – повторил почти в слезах Эндерби, – красное вино для заливающихся соло-вьем. А потому... – Он сам вылупился, придя в ужас от того, что вырывалось у него изо рта... – Я только рад отдать этот чек святому Георгию на нужды благотворительности. Что до золотой медали, он сам знает, что с ней делать.

Он готов был умереть от потрясения и конфуза от собственных слов, но его неостановимо, по убийственной инерции несло.

– Да, на сор повседневного мира труда, который наш собрат-певец Гудби так уместно не одобряет. А потому, – он словно бы перенесся в армию и читал солдатам лекцию о «Предназначении и образе жизни британцев», – мы с надеждой смотрим в будущее, когда мир сбросит черную тень и железная пята зла со шпорой свастики не будет больше попинать лицо простертой свободы, в будущее реальной демократии, честной платы за день честного труда, адекватного здравоохранения и толики мира, голубем витающего над закатными днями стариков. И с этими верой и устремлениями мы движемся вперед. – Он обнаружил, что не в состоянии остановиться. – Вперед к эпохе, когда мир освободится от тени угнетения.

Сэр Джордж поднялся и нетвердым шагом пошел к выходу.

– Ко дню честного труда, – слабым голосом повторил Эндерби, – за честную зарплату. Честную зарплату для всех, – с сомнением пробормотал он.

Сэр Джордж вышел за дверь.

– На это я уповаю, – с несчастным видом закончил Эндерби.

Собрание тут же забурило. Двое поэтов разобиженно набросились на Эндерби.

– Если вам чертовы деньги не нужны, – сказал Шем Макнамара, – недурно было бы вспомнить, что другим нужны и даже очень. Включая меня, – издевательски повторил он слова самого Эндерби идохнул на него луком, что было совершенно непостижимо, ведь лук в подаваемые блюда не входил.

– Я же не нарочно. – Эндерби чуть не плакал. – Сам не знаю, что плел.

– Погубить нас желаете? – спросил издатель Эндерби, едва не срываясь на визг в конце фразы. Это был смысленный молодой человек из Ньюпорта. – В хорошенькую вы калошу сели, приятель, это уж как пить дать!

Подошел и крепко взял Эндерби за лацканы человечек с усами, как у Киплинга, с такими же очечками-жуками и тяжелой цепочкой часов.

– Я Утесли, – объявил он. Короткими танцевальными шажками он потащил Эндерби прочь от стола, все еще крепко держа за лацкан. Утесли многократно покивал, перестал кивать,

⁹ Оговорка – Эндерби случайно называет сэра Джорджа святым Георгием.

навострил ухо, удовлетворенно кивнул, а потом просто кивнул, пожевав губами. – Очень уж жилистая утка, – заметил Утесли. – Вы меня знаете. Я во всех антологиях. Так вот, Эндерби, скажите-ка мне, скажите со всей откровенностью, что вы в настоящее время поделяваете?

– Просто пишу, сами знаете, как это бывает, – ответил Эндерби, пытаясь вспомнить, кто такой Утесли. С возрастающим беспокойством он слышал, как у него за спиной в мелких группках вспыхивают дебаты о его речи и ее последствиях для розничной книготорговли.

– Можно было бы предположить, – сказал Утесли, теребя лацканы костюма Арри, как коровье вымя, – рискнуть предположить, наверное, что вы пишете. – Он хмыкнул, сглотнул, кивнул. – Ну и что же, Эндерби? Что вы пишете? Расскажите-ка «мне, мене-теке-фарес, о Фаросском маяке». Ловко я Джойса ввернул, да? Тот еще был мифотворец, а?

– Ну, – протянул Эндерби и от нервов выложил целиком подробный синопсис «Ласкового чудовища».

– И зверь у вас – это на самом деле первородный грех, да? – догадался Утесли. – Без первородного греха нет цивилизации и культуры, в этом дело? Неплохо, неплохо. А название, давайте-ка еще послушаем название. – Отпустив лацканы, он нашел в кармане жилета огрызок карандаша, облизнул кончик, достал пачку сигарет, горестно с сожалением встряхнул и записал на крышке заголовок Эндерби. – Очень даже недурно, – повторил он. – Бесконечно обязан.

И ушел, кивая. Эндерби с грустью посмотрел, как он втерся в группку именитых поэтов, которые не считали ниже своего достоинства цинично сожрать дармовой ланч, поэтов с псевдонимами вроде П.С. ффолиотт, Питер Питтс, Альберт Досмерти-Колотель, Руперт Мавзлей и тому подобное. За предобеденным шерри они по большей части бормотали ему: «Отличная работа», но теперь он был предоставлен самому себе и своим ветрам, лишенный не только общества, но также медали и чека. Совсем никчемная вышла поездка, правду сказать.

2

– Мистер Эндерби? – Чуть запыхавшаяся дама премило переводила дух. – Ох, слава богу, я успела!

– Я знал, – ответил Эндерби, – что сэр Джордж догадается, что все это шутка. Прошу, передайте ему мои извинения.

– Сэр Джордж? Ах да, понимаю, о ком вы. Извинения? Не понимаю.

Ей было, вероятно, около тридцати: модно раздутые ноздри и лебединая шея модели. На голове изящно держалась шляпка от Кардена из бежевого велюра, костюм от того же модельера со свободным жакетом и лишь намеком на клеш в баске ладно облегал фигуру. На плечи наброшена шубка из оцелота. От нее так и исходили волны сдержанного шика. Какой аромат чистоты («Мисс Диор»), с глубоким сожалением подумал Эндерби, какой прозрачно-чулочный гламур. Лицо, решил он, лишено всяческой поверхностной чувственности, никакой тебе соблазнительно оттопыренной нижней губы, в холодных, по-кошачьи зеленых глазах светится ум. Высокий лоб затенен полями шляпки. Эндерби подтянул узел галстука и, разгладив нагрудные карманы, сказал:

– Извините. – А потом: – Я думал. То есть...

А она в ответ:

– О!

Несколько секунд они стояли, глядя друг на друга, под светящимися вывесками пассажа отеля, утопая ногами в ковре цвета бургундского вина.

– Э... Прежде всего мне бы хотелось сказать, что я искренне восхищаюсь вашим творчеством. – Говорила она с интонацией человека, ожидающего недоверчивого фырканья. Выговор у нее был мягкий, хотя согласные она произносила четко, точно в микрофон, и вообще в нем чувствовалась легкая вибрация, свойственная шотландцам высших классов. – Я писала на имя

ваших издателей. Давным-давно. Сомневаюсь, что письмо вообще могло до вас дойти. Если бы оно дошло, уверена, вы бы ответили.

– Да, – согласился взволнованный Эндерби. – О да, ответил бы! Но, возможно, они переслали его на мой старый адрес, поскольку я забыл сообщить им новый, да и почтовой службе, если уж на то пошло. Чеки, – продолжал лепетать Эндерби, – обычно идут прямо в мой банк. Не знаю, зачем вам все это говорю.

Она стояла в позе модели, слушала спокойно, приоткрыв губы, сумочка свисала с правого локтя, оперчаточенные указательный и большой пальцы левой руки неплотно охватывали средний палец правой без перчатки.

– Мне ужасно жаль, – сказал смиренный Эндерби. – Наверное, поэтому я его не получил. Покончив со спокойным слушанием, она разом стала деловитой.

– Видите ли, у меня было приглашение на этот ланч, но я опоздала. Как, по-вашему, мы не могли бы, – предложила она с движением на грани не-движения, апофеозом пританцовывания джигги рабочей девчонки в очереди на автобус зимним днем, а потому бесконечно женственным, – посидеть где-нибудь несколько минут, то есть если у вас найдется время? Какая же я глупая, что не представилась! – Рука в перчатке ударила по губам жестом *mea culpa*¹⁰. – Я Веста Бейнбридж. Из «Фем».

– Откуда?

– Из «Фем».

– Что это такое? – спросил Эндерби с бесконечным и подозрительным тщанием. Ему послышалось (хотя он сомневался, что такое возможно) что-то вроде «Флегма». Интересно, чем занимается организация (если это организация) с таким наименованием?

– Да, конечно, понимаю. Вы, скорее всего, про него не слышали, правда? Это женский журнал. И я заведу там разделом очерков. Так не могли бы мы?.. Для чая еще слишком рано, как по-вашему? Или нет?

– Если бы вам захотелось выпить чаю, – сказал галантный Эндерби, – я был бы только счастлив вас угостить.

¹⁰ Моя вина (*лат.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.